



Анатолий Домбровский **ЧЕРНАЯ БАШНЯ**

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Говорят: человек ко всему привыкает. Привыкает или смиряется? Скорее — последнее. Смиряется, когда есть надежда, что обстоятельства, приведшие его к смирению, временны, что терпение его будет вознаграждено. Иначе — не смирение, а отчаяние, начало которого — усталость, в чьем чреве — уныние, истерика, бунт.

Жанна сказала:

— Я устала, Клинцов. Отправь меня домой. Боже, как я хочу домой!

— Просто тебя напугал этот проклятый скорпион, — ответил Клинцов: он говорило скорпионе, который минувшей ночью забрался Жанне в ботинок и едва не ужалил ее, потому что Жанна, нарушив правила, сунула ногу в ботинок, не осмотрев его.

— И это, — согласилась Жанна. На лице ее появилась гримаса отвращения. — Бр-р-р! — произнесла она и вздрогнула, как обычно вздрагивают впечатлительные люди, вспомнив о какой-нибудь мерзости. — Дома можно ходить босиком и не выискивать в одежде блох, клещей и пауков перед тем, как

надеть ее... Отправь меня домой, Клинцов.

— Это невозможно, — сказал Клинцов. — Если тебя отправлю, другие тоже захотят. А нужно продержаться еще три-четыре месяца. И не просто продержаться, а с хорошим тонусом, с верой в успех, — словом, с максимальной работоспособностью. Еще рано сматывать удочки, а твой отъезд настроит многих именно на это. Ты молода, здорова — терпи. Ради общего дела. К тому же сама напросилась...

— Сама, сама, — вздохнула Жанна. Она слезла с кровати, надела халат и вышла в тамбур. Клинцов, не поднимаясь, дотянулся рукой до выключателя и погасил свет: вставать было рано. Да и работы на холме вот уже второй день не велись из-за праздника, объявленного в стране новым правительством. За рабочими — по предварительной договоренности — прилетел огромный вертолет с военной базы, расположенной в трехстах километрах к востоку, и увез всех на побережье, в столицу. Благо, Филиппо, казначей экспедиции, выдал им всем накануне жалованье. В расположении экспедиции остались только трое рабочих: старик-повар и двое его сыновей, тоже повара. По договору у них не было права покидать экспедицию до полного завершения всех работ. С рабочими улетел и Филиппо: экспедиция нуждалась в пополнении продовольственных запасов, бытовых товаров и инвентаря.

— Всем привезу по бутылке рома! — весело обещал Филиппо, прощаясь с археологами. — Говорят, что от здешнего рома дохнут мухи и пауки!

Перед тем, как надеть ботинки, Жанна постучала ими об пол. Потом скрипнула наружная дверь — Жанна вышла из тамбура. Вскоре Клинцов ощутил запах табачного дыма и с горечью подумал о том, что Жанна снова начала курить и что ей, действительно, плохо.

«А кому здесь хорошо? — вдруг заговорило в нем раздражение. — Мне хорошо? Или Владимиру Николаевичу? Или, может быть, американцам?»

Он не вспомнил почему-то студента Колю и студента Толю, которых ему навязал университет, поддержанный Институтом археологии («Участие в практических исследованиях поможет им определить свой путь в науку», — такова, кажется, была резолюция директора Института на университетской бумаге). А не вспомнил он о них, вероятно, потому, что в последние дни почти не встречался с ними: с его разрешения они начали свой собственный разведывательный раскоп на северном склоне холма. На вопрос Жанны, зачем он им это разрешил, Клинцов ответил:

— А чтоб не путались под ногами.

Жанна иронично усмехнулась: она, разумеется, догадывалась, что студенты раздражают его не тем, что якобы путаются у него под ногами, а тем, что слишком много внимания уделяют ей, Жанне, что называют ее Жанночкой, будто она им ровесница (ей тридцать, а им по двадцати одному), вертятся вокруг нее с утра до вечера, рассказывают ей всякие анекдоты и «ржут» на всю пустыню. И угощают ее сигаретами...

Теперь он о них не вспомнил. Да они и не укладывались в этот ряд: он, Жанна, Владимир Николаевич, американцы, потому что результаты экспедиции, как думал Клинцов, меньше всего волнуют студентов, а также та возможность, которую экспедиция якобы открывает перед ними — возможность «определить свой путь в науку».

Ему пятьдесят два. И если рассуждать трезво — нынешняя экспедиция является для него последним в жизни шансом сделать незаурядное открытие, прославиться, войти в историю археологии заметной величиной. Эту экспедицию он готовил несколько лет, обосновывал ее необходимость, «пробивал» ее, пророча ей громкий успех, подключил к этой нелегкой работе своих американских коллег,

придав ей таким образом международный характер, и тем самым спас ее от почти неминуемого провала: когда в здешней стране произошел государственный переворот, с новым правительством договорились обо всем американцы.

На организацию какой-либо другой экспедиции у него уже не хватит ни сил, ни времени, а во всех предыдущих он участвовал в качестве второстепенного лица, да и копали они, как правило, почему-то там, где до них уже копали другие. Словом, если нынешняя экспедиция не принесет ему заметного успеха, можно считать, что его научная песенка, скромная и негромкая, спета. Или почти спета. А это было бы чертовски обидно, потому что человек он работающий, умный, отлично знает свое дело, может, как говорится, горы свернуть, но одного до сих пор не мог сделать — заставить судьбу, чтобы она улыбнулась ему, как улыбалась многим, и подарила открытие: Трою, Ниневию, Вавилон, Ур... В этой золотой цепи должно быть и его звено. Так следует из закона справедливости, если такой закон, конечно, существует. Должен существовать! Как награда за труд, за упорство, за жизнь, которая, в сущности, отдана этому труду... Впрочем, имя его в Лету не канет: написаны сотни статей, есть солидные труды, но все это — по чужим следам, интерпретации, комментарии, гипотезы. И не в том дело, конечно, чтобы обессмертить имя, а в том, чтобы у прожитой жизни был смысл — добыта новая истина для человечества. Ведь это даже не ахти что: таков вообще смысл жизни ученого.

Вот, например, Владимир Николаевич мечтает найти библиотеку — собрание глиняных таблиц, по которым можно было бы прочесть одну из глав Истории, прочесть первому, прочесть нечто необыкновенное и удивить мир. А более всего — удивиться самому, ахнуть от восторга или ужаса перед красотой или уродством Минувшего и обнаружить в человечестве и в себе его следы, прекрасные и уродливые. И что-нибудь объяснить в Будущем, вытекающем из Прошлого, предугадать, предупредить, предотвратить. Это — мечта Владимира Николаевича. Но библиотеки пока нет. Нет ни одной глиняной таблички с письменами. И Владимир Николаевич, который знает английский и почти все восточные языки, выполняет в экспедиции роль переводчика. Впрочем, роль добровольную, потому что официально переводчиком является Филиппо, он же казначей, он же завхоз. Владимир Николаевич не всегда был археологом и языковедом, его первая профессия — врач-терапевт! И если роль переводчика Владимир Николаевич исполняет в экспедиции, как уже было сказано, добровольно, то роль врача — по договору, и не только терапевта, но и дерматолога, и дантиста, и просто, как говорит Жанна, знахаря, потому что Владимир Николаевич порою просто «заговаривает» болезни, то есть врачует в старом понимании этого слова.

Жанна — художник. Она же фотограф, секретарь экспедиции. А еще — жена Клинцова. Владимир Николаевич в разговорах с Клинцовым называет Жанну непременно молодой и красивой женой. Американцы обращаются к Жанне так, как отрекомендовал ее им сам Клинцов: мадам Клинцова, делая при этом ударение на первом слоге фамилии.

Жанна вернулась, стуча по деревянному полу башмаками. Не зажигая света, подошла к окну и отдернула штору.

— Посмотри, — сказала она Клинцову. — Что это такое? Клинцов уловил в ее голосе тревогу, даже испуг.

— Где? — спросил он, переворачиваясь лицом к окну.

— Там, — ответила Жанна. — Подойди.

Клинцов встал, нащупал ногами тапочки и подошел к Жанне, став у нее за спиной.

— Видишь? — спросила Жанна шепотом.

— Что?

— Жанна вместо ответа отодвинулась на шаг в сторону.

— Ничего не вижу, — с досадой произнес Клинцов, подумав, что Жанна его просто разыграла: за ней это водилось, она считала Клинцова лежебокой и уже не раз обманым путем вытаскивала его из-под одеяла.

— Ты не туда смотришь, — торопливо и зло сказала Жанна. — И вообще, проснись! Посмотри вверх! Верх там, где небо! Видишь теперь?

«Боже, почему она злится? — подумал Клинцов. — Да, я немного медлителен. Но ведь я почти стар, во всяком случае не мальчик, не студентик. Могла бы мне это простить, тем более, что виноват не я, а время, которое старит всех...» В конце этой невеселой мысли должна была появиться Жанна, какой она станет через двадцать лет, но мысль Клинцова осталась незаконченной: он увидел то, что должен был увидеть.

Там, где во все предыдущие ночи он видел черное небо в звездах, он увидел беспорядочное скольжение и кувыркание мутно-багровых пятен.

— Странно, — сказал он. — Первый раз вижу.

— И так по всему небу, — отозвалась в темноте Жанна. — Страшно смотреть.

— Зарницы? — предположил Клинцов. — Над пустыней пыльная мгла, а выше — беззвучные вспышки молний? Может ли такое быть? Не припоминаю, — он замолчал, прислушиваясь, не веря собственному предположению.

— Да, никакого грома, — сказала Жанна. — Вся эта чертовщина — в полной тишине... Жутко.

— Какое-нибудь редкое явление... Надо разбудить Владимира Николаевича и американцев. — Клинцов включил свет и принялся быстро одеваться. — Надо чтоб все увидели. А то скажут потом, что нам почудилось, что это летающие тарелки. И ты одевайся, — сказал он Жанне и задержал взгляд на ее лице.

— Ты что, Жанна? — поразился он произошедшей в ней перемене: Жанна стояла, прижавшись спиной к стене, ее побелевшие пальцы судорожно комкали на груди халат, в глазах был ужас. — Ты что? — он шагнул к ней и взял за плечи. — Что тебя так испугало? Ведь это наверняка чепуха какая-нибудь. Может быть, вырвались где-то светящиеся газы. Или преломляется в разнотемпературных потоках атмосферы далекая заря — своеобразный световой мираж...

— Заря? — Жанна сняла его руки со своих плеч. — Заря в три часа ночи? О чем ты говоришь?!

Клинцов взглянул на свои часы: они показывали четверть четвертого.

— В пустыне все может быть, — старался успокоить Жанну Клинцов. — Потому что это — пустыня, почти другая планета. Здесь все может быть, всякие чудеса.

— А мне страшно, — сказала Жанна. — Мне очень страшно. Я подумала об атомной войне.

— Фу! — попытался засмеяться Клинцов. — Какие глупости, Жанна! Какая война?! Бог с тобой! Придет же такое в голову! Одевайся. А я пойду будить народ.

В тамбуре Клинцов надел сапоги, по привычке снял с вбитого в стену гвоздя электрический фонарик и вышел за порог, подумав о том, что сейчас он посмотрит вверх и не увидит ничего необыкновенного — будет привычное бархатно-черное небо, усыпанное, как всегда, мириадами звезд. Тем сильнее его поразила действительная картина: от горизонта до горизонта низкое небо кишело грязно-желтыми и багровыми пятнами. Они пульсировали, слипались, пожирали друг друга, дробились и рвались на клочья, увлекались потоками и вихрями, зловеще-беззвучные, словно порождение кошмарного сна. Они не освещали

землю. На земле не было ни бликов, ни теней. Домик американцев, который стоял в десяти-пятнадцати метрах от домика Клинцева, был совершенно неразличим в темноте. И только вершина холма с отвалами земли у раскопов, казалось, выела из грязного месива неба заметный кусок, и теперь на том месте зияла чернотой зубчатая пирамида. Противоположная холму восточная часть горизонта светилась узкой желтой полоской, словно остывающий шов электросварки. Воздух был неподвижен и горяч. В нем угадывался, или это только казалось Клинцову, запах каких-то медикаментов, смешанный аптечный дух.

Клинцов включил фонарик. Конус света мгновенно выхватил из темноты домик американцев, точнее, дощатую стену и дверь. От домика шарахнулась какая-то тень: шакалы еженощно бродили вокруг лагеря экспедиции в поисках случайной поживы.

Выключив фонарик, Клинцов еще какое-то время смотрел на небо. Оно все так же клубилось и мерцало, не предвещая никаких перемен. И Клинцов подумал, что он является свидетелем если не космического, то глобального явления — таким грандиозным и впечатляющим ему виделось оно. Страха он не испытывал, но все в нем как-то насторожилось в предчувствии надвигающейся беды, насторожилось и замерло в ожидании ответа на один-единственный вопрос: что это? Мысль Жанны об атомной войне уже не казалась ему нелепой...

Клинцов обошел свой домик и постучался в дверь с противоположной стороны. Сборный деревянный домик был разделен стенкой на две равные половины, одну из которых занимали Клинцов и Жанна, другую же — Владимир Николаевич Глебов и студенты Коля и Толя. На стук, как Клинцов и ожидал, отозвался Владимир Николаевич. Он включил в тамбуре свет и открыл дверь, не спросив, кто стучится. Борода и усы его были смяты, седые буйные волосы всклокочены. Он посмотрел на Клинцева сонными глазами, широко зевнул, трясая головой, сказал:

— Добро пожаловать, Степан Степанович, черт вас принес в такую рань! Я как раз сон видел потрясающий, всемирную катастрофу... А что это от вас лекарством каким-то разит? Вы что принимали? Вы заболели? Или ваша молодая и красивая жена?

— Все не то, — остановил Глебова Клинцов.. — Я разбудил вас, чтобы вы посмотрели на небо.

— Это зачем еще, на небо? — искренне удивился Владимир Николаевич. — Какая такая в этом срочная необходимость? Да и что я могу там увидеть? Разве что, конечно, какой-нибудь знак господень...

— Именно, знак.

— Ах, Степан Степанович, — вздохнул Глебов, не собираясь выходить из тамбура. — Охота же вам меня морочить... Говорите скорее, что вам надо, и удаляйтесь, батенька, удаляйтесь к своей молодой и красивой жене, а нам дайте еще поспать в нашем диком холостяцком одиночестве. Так что, Степан Степанович? И чем это, черт возьми, от вас пахнет? Что случилось?

Клинцов взял Глебова за руку и вытащил из тамбура. Глебов увидел странное небо.

— Что это? — спросил он шепотом. — Это что? — А что вы видите, Владимир Николаевич?

— То есть как — что?! — То же, что и вы, надеюсь.

— Но что именно? Все-таки скажите. Я хочу убедиться, что все это не чудится.

— Ага, значит, вы приняли какое-то успокаивающее средство, испугавшись, что у Вас галлюцинации. А это не галлюцинация, это реальность: на небе происходит какая-то непонятная катавасия... Но что? — Глебов схватил

Клинцова за руку. — Что это, дорогой Степан Степанович?

— Не знаю, — ответил Клинцов. — Разбудите Колю и Толю. А я пойду к американцам.

Американскую группу экспедиции возглавлял Майкл Селлвуд, мистер Селлвуд или просто Майкл, как по преимуществу обращался к нему Клинцов, потому что дважды бывал с ним в совместных советско-американских экспедициях, несколько раз встречался на международных конференциях археологов, поддерживал с ним регулярную переписку, поскольку его и Майкла объединяло не только многолетнее знакомство, но и общий научный интерес, и вот теперь, благодаря всему этому, оказался с ним здесь, в этой пустыне, у Золотого холма. Селлвуд был на добрый десяток лет старше Клинцова. Ровесницей Селлвуда была и его жена Дениза, которая никогда не расставалась с ним и осталась верной этому правилу и теперь. Майкл и Дениза, как и Клинцов с Жанной, занимали половину домика. Дверь Селлвудов смотрела на дверь Клинцовых.

Светя себе под ноги фонариком, Клинцов подошел к двери Селлвудов и негромко постучал. И хотя Селлвуд отозвался не сразу, повторно стучать не стал, помня, что у Селлвуда феноменальный слух — он уверял, например, что слышит, как сквозь почву прорастает трава. Скрипнула дверь в тамбур, щелкнул выключатель.

— Это я, Майкл, — не дожидаясь вопроса Селлвуда, сказал вполголоса Клинцов. — Мне нужно тебе кое-что показать. Выйди, пожалуйста.

— Да, да, я догадался по деликатному стуку, что это ты, Степан, — отозвался за дверью Селлвуд. — Сейчас. Только натяну сапоги.

Селлвуд вышел и, протянув Клинцову руку, спросил, посмеиваясь:

— Это ты, Степан, устроил в небе этот грандиозный фейерверк? Признайся, что ты.

— Разумеется, я, — подстраиваясь под тон Селлвуда, ответил Клинцов. — Но как ты догадался, Майкл?

— Не я, а Дениза. Когда ты постучал, она взглянула в окно и сказала: «Степан, кажется, пробился уже сквозь холм до газоносных пластов и устроил фейерверк». Красиво, — сказал Селлвуд, озирая небо. — И жутко. Давно это началось? — спросил он.

— Не знаю. Жанна разбудила меня в три часа.

— И что ты об этом думаешь? Я вижу такое впервые.

— Я тоже.

— Надо разбудить Холланда, — предложил Селлвуд. — Все-таки он химик, а все это, вероятно, имеет какое-то отношение к химии. Сера, фосфор, нефть?.. Но чтоб устроить такой пожар, надо поджечь целое море. Чем пахнет? — спросил Селлвуд, потянув воздух носом. — По-моему, какой-то лекарственной дрянью. Ты не находишь?

— Пожалуй, — согласился Клинцов.

— А если вся эта штука накроет нас, покатится по земле? Хорошо, если это только дым, в котором нет ядовитых веществ. Правда, у нас есть противогазы, но сколько? Три или четыре?

— Четыре, — ответил Клинцов.

— Надо, чтобы Холланд немедленно сделал анализ воздуха.

Селлвуд и Клинцов разбудили остальных американцев: Холланда, Сенфорда и Шмидта. Джеймс Холланд был химиком в том объеме, в каком химия имеет приложение к археологии. Меттью Сенфорд — архитектором, Вальтер Шмидт — техником и радистом. Все трое, как и Глебов со студентами, занимали вторую половину домика.

Селлвуд и Клинцов будили их, не церемонясь: громко стучали, громко разговаривали, тем более, что в лагере уже никто не спал, разве что только повар со своими сыновьями, которые жили в рабочем бараке у самого подножия холма, метрах в двухстах от домиков археологов. Там же, у барака, находилась палатка-столовая и кухня, поставленная у самого колодца, воду из которого поднимали с помощью небольшой электропомпы.

Холланд, как только понял, что от него хотят, сразу же бросился к своему ящику с приборами и реактивами. Архитектор Сенфорд, глядя в небо, сказал:

— Это ужасно, потому что это — хаос. Хаос же может быть только следствием катастрофы.

— Свяжитесь с военной базой, — приказал Шмидту Селлвуд. — Попытайтесь выяснить, что произошло.

— Не могу, мистер Селлвуд, — ответил Шмидт. — Филиппо увез на базу целый блок станции, который еще позавчера вышел из строя. Я вам докладывал, мистер Селлвуд. Надеюсь, что на базе этот блок нам заменят. Но у многих есть транзисторные приемники — можно послушать, что говорят в мире...

Транзисторный приемник был и у самого Селлвуда. Селлвуд попросил Денизу принести его.

— Он только шипит и хрюкает, как Помесь свиньи и гуся, — сказала Дениза, вручая мужу приемник. — Сейчас ты сам убедишься в этом.

Дениза сказала правду: сквозь шипение, свист и треск не пробивалась ни одна радиостанция.

— Что это значит? — спросил Селлвуд у Шмидта.

— Только то, что над нами электромагнитный ураган, — ответил Шмидт.

— Следствием чего может быть такой ураган?

— Не знаю, — Шмидт взял из рук Селлвуда радиоприемник и еще раз попытался среди хаоса звуков обнаружить человеческую речь или музыку. Радиоприемник вел себя как раскаленная сковородка, на которую плеснули воды.

Мне кажется, что я вот-вот прочту на небе роковые слова: мене, мене, текел, упарсин, — сказал Мэттью Сенфорд, когда Шмидт выключил приемник. — Перевожу для непосвященных: считано, считано, взвешено, разделено. Некий таинственный перст начертал сии слова на стене дворца в Вавилоне во время пира Валтасара. И Валтасар был убит.

— Мэттью, тебя заносит, — пожурил Сенфорда Селлвуд. — Мы должны быть сдержанными в наших пророчествах. Непродуктивно пугать друг друга.

Появился Холланд. Он слышал последнюю фразу Селлвуда.

— Что? — спросил Селлвуд Холланда.

В ответ Холланд протянул ему листок бумаги. Селлвуд приблизился к двери, из которой падал свет, надел очки и прочел то, что было написано Холландом на листке.

— Ну что ж, — сказал он, пряча бумажку в карман и снимая очки. — Химический анализ воздуха показывает, что в воздухе увеличилось содержание продуктов горения. Яды и ядовитые газы Холланд не обнаружил, кроме угарного и углекислого газов, разумеется, которые опасности пока не представляют... Есть высокотемпературные окислы железа, кремния и других элементов...

А что светится? — спросил громко Сенфорд, обиженный, вероятно, недавним замечанием Селлвуда. — Что там в небе горит и кувырывается? Пусть Холланд ответит! — потребовал он.

— Не знаю, — ответил Холланд.

— А вы можете установить степень радиоактивного заражения? — спросил все тот же Сенфорд.

— Нет, не могу. У меня нет такого прибора, — четко и точно ответил

Холланд, словно давно ждал этого вопроса.

Селлвуд кивком головы похвалил Холланда.

— Я могу! — вдруг сказал Николай Кузьмин, студент Коля. — У меня есть дозиметр, подарок моего друга-ядерщика. Правда, этот дозиметр я должен еще найти.

— Так идите и ищите! — потребовал Сенфорд. — Возможно, что мы уже давно облучаемся, ничего не подозревая. Не медлите же!

Когда студенты ушли, Холланд приблизился к Селлвуду и что-то сказал ему на ухо. Сенфорд увидел это и заявил:

— Никаких тайных переговоров! Требую полной гласности!

— Хорошо, — согласился Селлвуд. — Холланд сказал, что следует укрыть в штольне продукты, запас воды и горючего. Дождемся возвращения студентов с их дозиметром и посмотрим, надо ли торопиться или можно дождаться рассвета.

— Вы полагаете, что наступит рассвет? — съязвил Сенфорд.

Селлвуд не ответил.

Пришла Жанна и стала рядом с Клинцовым, Клинцов взял ее за руку.

— Не может ли это быть следствием сильного извержения вулкана? — предположил Владимир Николаевич.

— Говорите по-английски, — посоветовал ему Клинцов. — Мистер Сенфорд не знает русского, но желает гласности.

Владимир Николаевич повторил свое предположение на английском.

— И где, по-вашему, этот вулкан? — спросил Сенфорд. — В какой стране? В окружности с радиусом в тысячу километров, насколько мне известно, нет ни одного действующего вулкана.

— Мог появиться совершенно новый вулкан...

— А почему тогда не метеорит? — не дал договорить Глебову Сенфорд. — Мог ведь шлепнуться где-нибудь по соседству огромный метеорит или даже целая комета. Вулканы, метеориты, кометы — все это чепуха.

— А что же — не чепуха? — спросил Клинцов.

— Не чепуха — катастрофический взрыв ядерных зарядов. Иначе мы нечто подобное видели бы раньше.

Шмидт снова включил радиоприемник Селлвуда. Свист и треск продолжали заполнять весь эфир.

И в небесной коловерти не было никаких перемен. Кто-то, правда, сказал, что небо, кажется, опустилось ниже. Близилось утро, но мрак не рассеивался. Стало быть то, что клубилось зловеще у них над головами, захватило по высоте не один километр. Багровые и желтые пятна лишь пробивались сквозь эту толщу дыма и пыли, это были лишь слабые отсветы высокого и страшного огня.

— Господи, не снится ли все это, — со вздохом произнесла миссис Селлвуд. — Пронеси, избави и сохрани...

Вернулись студенты, оба понурые. Оказалось, что первым нашел дозиметр не Николай, а Анатолий, но принял его за авторучку и, как выразился Николай, тут же свернул ему голову, то есть сломал. Холланд посмотрел на то, что осталось от дозиметра после того, как он побывал в лапищах студента Толи, и сказал, что дозиметр можно без всякого сожаления выбросить.

— Ох, обалдуи и головотяпы! — выругался Клинцов. — Бог дал силу, да не дал ума!

— Говорить только по-английски! — потребовал Сенфорд.

— А пошел ты! — отмахнулся от него Клинцов и, держа Жанну за руку, направился к своему дому.

— Зачем ты так? — упрекнула Жанна мужа. — Сенфорд — очень милый человек, умница, философ.

— Меня давно тошнит от его философии. Но каковы наши обалдуи, а?! Твои мальчишки. Идиоты паршивые, кретины!

— Перестань браниться! Ты мог бы и сам приобрести дозиметр. Помнится, я даже советовала тебе, когда мы были в Японии. И зачем мы ушли? Ведь надо что-то решить, что-то делать...

— Я уже все решил, — сказал Клинцов. — Надо срочно собираться. Надо собрать все, что представляет ценность: предметы, слепки, зарисовки, фотографии, схемы, дневники... Словом, все ценное для науки. Ты понимаешь. Наше пребывание здесь не должно оказаться напрасным. В любом случае.

— И в случае смерти?

— Перестань! — крикнул на жену Клинцов. — Смерть, катастрофа, война — все это сенфордовская болтовня! Если это, — он показал пальцем вверх, — представляет для нас хоть какую-то опасность, за нами прилетят. Нас не бросят на произвол судьбы. Поэтому мы должны быть готовы к немедленной эвакуации. Для этого необходимо все собрать, как я сказал. И без всякой паники, Жанна, — произнес он устало и сел на кровать, которую жена успела застелить, пока он ходил будить Глебова и Селлвуда.

«Стало быть, не так уж она испугана», — отметил он про себя с некоторым удивлением.

— Но и ты не нервничай, — спокойно сказала Жанна. — Бери пример с Селлвуда. Он стоял на пороге своего дома, как бронзовая статуя. Не заметил?

— Не заметил, — признался Клинцов. — А Сенфорд сеет панику: мене, текел, упарсин... Библейский пророк нашелся!.. Шмидт радиостанцию угробил. Уверен, что на ультракоротких волнах мы могли бы связаться хотя бы с базой. Наши кретины сломали дозиметр... Но ведь на базе наш Филиппо! Ты слышишь? Все могут забыть о нас, но Филиппо не забудет. Он украдет вертолет, но прилетит. Филиппо — верная душа. Итальяно амо русо! Ты помнишь? Итальянцы любят русских! Это первое, что он мне сказал при знакомстве. Филиппо нас не оставит в беде. К тому же на базе — американцы. Надеюсь, что американцы позаботятся хотя бы об американцах...

— А если базы нет? Что тогда? — спокойно спросила Жанна. Она принялась вытаскивать из-под стола и из-под кровати чемоданы и ящики. — Кто за нами прилетит тогда?

Клинцов не знал, что ответить, и промолчал.

— Ты заметил, что Селлвуд чего-то недоговаривает, — продолжала Жанна. — Холланд сказал ему больше, чем знаем мы. Пойди и потолкуй с Холландом и Селлвудом, — посоветовала она. — К тому же твой уход могут неправильно истолковать.

— Ты так думаешь?

— Уверена.

Теперь Клинцов и сам подумал о том, что Селлвуд сказал не все, о чем написал ему в записке Холланд. Клинцов вспомнил, как Селлвуд поспешно спрятал записку Холланда в карман, как они потом о чем-то шептались, как Сенфорд — и, пожалуй, не зря! — потребовал полной гласности...

— Да, я пойду, — сказал Жанне Клинцов... — Если выяснится что-то новое, сразу же сообщу. А ты постарайся ничего не забыть.

— Взгляни на часы, — сказала Жанна, когда Клинцов был уже у двери.

— Да. Шесть часов. А что? — спросил Клинцов.

— В шесть часов уже светит солнце, — ответила Жанна. — А теперь темно, как в полночь. Нет, это ужасно, это ужасно!.. — она села перед раскрытым чемоданом на пол и уронила голову на руки. Ее гладкие черные волосы соскользнули с плеч и закрыли лицо и руки.

Клинцов впервые, кажется, подумал, что он отвечает за ее жизнь.

— Так я пойду? — спросил он.

— Да, да, конечно, — ответила Жанна, выпрямилась и отбросила волосы за спину. — Иди к Селлвуду. Ведь вы оба в равной мере ответственны за судьбу экспедиции. Напомни Селлвуду об этом, если он забыл.

Огромное грязно-багровое пятно, которое ползло по небу со стороны холма, вдруг лопнуло и из него, как клубы дыма, вырвалась тьма. В нее вплелись желтые жгуты, разорвали ее на части и втянули в другое багровое пятно, которое закатилось за холм и тоже лопнуло, выбросив над вершиной черные языки, окаймленные серой желтизной. Был цвет, но не было света. Казалось, что по небу текут, смешиваясь, потоки багровой, желтой и черной краски, лишь чудом не проливаясь на землю. В местах смешения пучилась ржавчина, вспенивалась сукровица, размазывалась гнилая желтизна. Все это было отвратительно и грозно. Клинцов придумывал названия: адская давяльня, дьявольская мясорубка, стоки мерзости. И, конечно, хаос. Сенфорд сказал: «Хаос может быть лишь следствием катастрофы». Какой катастрофы? К западу пустыня тянулась на тысячу километров. К северу — горы, за ними — снова пустыня. К востоку — военноморская база, куда улетел вертолет с рабочими и Филиппо. До базы — свыше трехсот километров. Города есть лишь на юге, но и до них не ближе. И до них, как и до базы, нет отсюда дороги: сначала добрая сотня километров барханов, затем район болот, за болотами — безлюдное скалистое нагорье. Если хаос — следствие колоссального взрыва, то где же произошел этот взрыв? Откуда напозла на небо эта жуть? По пятнам это определить нельзя: они движутся в разных направлениях. А воздух — неподвижен. И горяч. И, кажется, становится еще горячее... Сатанинская, безмолвная, горячая коловерт.

Уходя из дому, Клинцов выпил чашку холодного кофе и теперь был мокрый, словно только что побывал в парилке. Он не успевал утирать пот с лица и чувствовал, как на спине намокает рубашка. Споткнулся на колдобине, чуть не упал, громко чертыхнулся и включил фонарик. Погасил его только перед домом Селлвуда.

Все по-прежнему были в сборе (впрочем, и прошло то минут десять, не больше). Встретили Клинцова молча.

Клинцов направился к Селлвуду, спросил:

— Есть что-нибудь новое, Майкл?

— А у тебя?

— У меня — ничего.

— И у нас, — сказал Селлвуд и взял Клинцова под руку. — Пройдем в дом, — предложил он, — надо посоветоваться. — И добавил, обращаясь к остальным: — Не расходитесь, друзья: мы сейчас вернемся.

Сенфорд, видимо; снова хотел крикнуть: «Требую гласности», но только махнул рукой.

Они вошли в дом. Селлвуд закрыл за собою дверь:

— Надо что-то делать, Степан, — сказал Селлвуд, наливая в чашку из термоса чай. — Тебе тоже налить?

— Нет. Я и так мокну — кофе выпил, — ответил Клинцов и спросил: — У тебя есть какие-то предложения?

— Предложение, если помнишь, внес Холланд. Он сказал, что надо перенести в штольню все жизненно необходимое и самим переселиться туда.

— Смысл?

— Посмотри, — Селлвуд протянул Клинцову записку Холланда. — Обрати внимание на последнюю строчку.

Клинцов прочел вслух то, что было написано в конце записки Холланда:

«Радиация бешеная: счетчик Гейгера не щелкает, а свистит». Елки-моталки, Майкл! — поразился Клинцов. — Почему же ты молчал?!

Потому что несколько минут уже ничего не изменяет: мы находимся в зоне радиации несколько часов, — чайная чашка дрогнула у Селлвуда в руке. — Да и, пожалуй, сначала я растерялся...

— И какую дозу мы уже получили?

— С помощью счетчика Гейгера это определить нельзя. Он лишь регистрирует наличие ядерного излучения: слабое — сильное. В данном случае — сильное. Насколько сильное — Холланд не знает. Твои обалдуи могли бы ответить на этот вопрос, если бы не свернули голову дозиметру. — Слова «обалдуи» и «свернули голову» Селлвуд произнес по-русски, хотя русского языка не знал. — Так что будем делать, Степан? — повторил он свой вопрос и сам ответил: — Я подумал, что молодым людям надо немедленно укрыться в штольне: Жанне, Коле и Толе, еще Вальтеру Шмидту и сыновьям повара. А нам, пожилым людям, работать: таскать вещи, продукты, воду и горючее. Можем, конечно, освободить от этого Денизу, потому что от нее мало толку. Есть также вариант: сыновей повара тоже заставить работать, ничего им не объясняя. Не знаю только, к каким людям отнести Сенфорда: ему сорок три.

— Зачем все это, Майкл? — спросил Клинцов, ошарашенный ужасной новостью.

— Затем, Степан, что молодым людям надо еще жить, а нам, старым, не так уж важно, когда мы умрем: теперь или через пять-шесть лет.

— Сыновья повара тоже должны умереть?

— Не знаю, — ответил Селлвуд. — Если они тоже уйдут в штольню, нас останется только пятеро: я, ты, Глебов, Холланд и повар. Сенфорда, думаю, придется все-таки причислить к молодым. Впятером нам придется трудно.

— Ничего, — ответил Клинцов. — Будем работать дольше — только и всего. Ведь все равно нам каюк, Майкл? Как ты думаешь?

— Каюк — это что? — переспросил Селлвуд.

— Конец, Майкл.

— Не знаю, — Селлвуд поставил чашку на стол. — Лучше не знать. Хотя потом, конечно, узнаем. Это будет последнее, что мы узнаем.

— Тогда надо немедленно... — сказал Клинцов, чувствуя между тем, как им начинает овладевать оцепенение. — Время уходит. Надо приступать.

В последних словах Клинцова Селлвуд, вероятно, услышал вопрос, потому что сказал:

— Разумеется, надо приступать.

— Ты отдашь необходимые распоряжения, Майкл, — скорее попросил, чем предложил Клинцов.

— Селлвуд вздохнул, потом похлопал Клинцова по плечу и сказал по-русски:

— Держи хвост пистолетом! Кстати, о пистолете: если у тебя есть оружие, возьми с собой, — добавил он, перейдя на английский.

— У меня нет оружия. Откуда ему взяться?

— Ладно. Пора выйти к людям, иначе Сенфорд организует бунт.

Повар и двое его сыновей уже тоже были здесь. По просьбе Селлвуда один из студентов сбежал за Жанной. Таким образом, все оказались в сборе. Стояли молча, ждали, что скажет Селлвуд, который, посылая студента за Жанной, объявил, что сделает серьезное заявление, когда все соберутся.

— Друзья, — сказал Селлвуд, — я не хочу вас ни пугать, ни успокаивать, а скажу только то, что есть: над нами нависла смертельная опасность. К этому выводу мы пришли, взвесив еще раз данные анализов мистера Холланда. Руководствуясь только разумом, мы решили, что всем нам немедленно надо

укрыться в штольне. Но так как ситуация может оставаться опасной не день и не два, а недели, то нам следует обеспечить наше существование в штольне на длительный срок. Далее слушайте приказ, — повысил голос Селлвуд. — Приказ, который не подлежит никакому обсуждению! Того, кто откажется его выполнить, я расстреляю! Итак, — продолжал он, выдержав паузу, — в штольне укроются немедленно, прихватив с собой керосиновые фонари, канистры с горючим и все имеющиеся у нас медикаменты: миссис Клинцева и миссис Селлвуд, студенты Коля и Толя, молодые повара, Вальтер Шмидт и Мэттью Сенфорд. Все вы укроетесь в камерах зиккурата. Остальные войдут туда, лишь выполнив ряд работ. Работами командую я и мистер Клинцов. Выполнять приказ!

— Да, — кивнул головой Жанне Клинцов. — Немедленно.

Сенфорд подошел к Селлвуду и спросил:

— По какому принципу вы, мистер Селлвуд, разделили всех на две группы? Одна сможет выжить за счет другой?

— Еще одно слово — и я вас расстреляю, Сенфорд! — тоном, не вызывающим сомнения, произнес Селлвуд и вынул из кармана пистолет. — Выполняйте приказ, черт вас возьми!

Сенфорд откачнулся, словно его ударили в грудь.

— Так, так, — сказал он, ни на кого не глядя, — я, разумеется, подчинюсь. Но объяснение вы мне дадите. Вы все равно дадите мне объяснение!

Приблизились сыновья повара, заговорили разом.

— Чего они хотят? — спросил Владимира Николаевича Селлвуд. — Переведите, пожалуйста.

Владимир Николаевич заставил поваров замолчать и сказал, что они просят отправить в штольню их отца, сами же хотят остаться здесь, так как закон их рода не позволяет им подвергать старого отца опасности, а самим спастись.

— Бог этого не простит и накажет их, — закончил перевод Владимир Николаевич. — Что им ответить?

— Что? — спросил у Клинцева Селлвуд.

— Только то, что ты обязан ответить, Майкл: за невыполнение приказа — расстрел. Мы их расстреляем и это убьет их отца.

— Да, — сказал Глебову Селлвуд. — Переведите им слова Клинцева.

Владимир Николаевич перевел. Повара молча поклонились и ушли.

— Вы что, действительно стали бы стрелять? — спросил у Селлвуда Глебов.

— Есть вопросы, на которые я в течение какого-то времени отвечать не стану: не обязан, — ответил Селлвуд, пряча пистолет в карман. — Ваше нынешнее ощущение неба? — обратился он к Клинцову.

— По-моему, ничего не изменилось.

— По-моему, тоже. Кроме одного — облака снижаются.

— Этому есть объяснение, — сказал Холланд. — Сейчас они лежат на горячей подушке воздуха пустыни, их подпирают вертикальные потоки горячего воздуха. Но по мере того, как воздух будет остывать — а это неизбежно, так как солнечный свет не проникает через толщу дыма и пыли, — вся эта дрянь накроет нас. Это произойдет также в том случае, если начнется ветер. Словом, надо торопиться.

— Вы правы, Холланд. Все мы говорим: надо торопиться. Но почему-то не торопимся. Я знаю почему, — Селлвуд взглянул на свои наручные часы. — Наша воля к жизни уже подкошена, нас постепенно одолевает чувство обреченности. С этим надо бороться.

— Я не уверен, что ушедшие в штольню еще имеют шанс... — начал было Холланд, но Селлвуд тут же прервал его:

— Замолчите! — крикнул он. — Запрещаю что-либо обсуждать! Приступим к

делу, — произнес он спокойнее. — Начнем с того, что перенесем в штольню продукты. Омар, — обратился он через Глебова к повару, — ведите нас к своему погребу.

Продуктов оказалось не так много, как можно было предположить: три ящика мясных и рыбных консервов, несколько банок топленого масла, сушеный картофель, фрукты, макароны, сахар и соль. Если бы беда нагрянула днем раньше и все рабочие — а их было шестнадцать человек — остались бы здесь, не улетели бы на базу вместе с Филиппо, этих продуктов хватило бы не более чем на две недели.

— Теперь нас — тринадцать человек. Продержимся месяц, а при известной экономии — и больше, — сказал Селлвуд. — Запасая продукты, Филиппо, конечно, не учитывал возможность катастрофы, и все же он сукин сын: могли произойти другие непредвиденные события, из-за которых доставка продуктов с базы могла бы оказаться невозможной. Например, международный конфликт, в который ввязалась бы база, что вполне реально в нашем неустойчивом мире, особенно в этом регионе, и тогда всем было бы не до нас. А что еще реальнее — наступление длительного периода бурь, когда к нам не смог бы пробиться ни один вертолет. Мы еще вспомним Филиппо, когда вскроем последнюю банку консервов, — мрачно закончил Селлвуд.

— Ты полагаешь, Майкл, что нам придется пробыть здесь так долго? — спросил Клинцов.

— Все может быть, — ответил Селлвуд.

Холланд вспомнил о противогазах, но их только четыре. Один из пятерых должен был остаться без противогаза. Клинцов предложил разыграть противогазы на спичках, но Селлвуд сказал:

— Мы ни в чем не должны доверяться случайности. Только разум, господа, наш поводырь. Будет разумно, если от противогаза откажусь я. Я старше всех вас, и, стало быть, моя потеря будет наименьшей из всех возможных потерь. Наденьте противогазы, господа! Это мой приказ.

— Глупо, Майкл! — возразил Клинцов.

Селлвуд повернулся к нему и, чеканя каждое слово, сказал:

— Мы, кажется, договорились, что не будем обсуждать мои приказы!

— Хорошо, хорошо, — согласился Клинцов. — Просто я подумал, что твой фельдмаршальский талант нам еще понадобится...

— Спасибо, — не дал ему договорить Селлвуд и засмеялся. — Спасибо за столь высокий чин. Выполняйте приказ, господа.

Все, кроме повара Омара, надели противогазы. Омар, никогда не имевший дело с противогазом, никак не мог с ним справиться. Ему помог Селлвуд.

Работать в противогазе было дьявольски трудно. И Клинцов, когда его никто не видел, несколько раз просовывал палец между щекой и респиратором, чтобы хоть немного отдышаться. В конце концов Холланд заметил эту «хитрость» Клинцова и погрозил ему кулаком. Но ни Холланд, ни Селлвуд не заметили другого: когда Клинцов и Омар подкатили бочку с горючим к штольне, из нее бесшумной тенью выскользнул один из сыновей Омара, уволок отца в штольню и через несколько минут появился снова, но уже в противогазе. Установить, что это не Омар, не представлялось возможным: ни ростом, ни одеждой сын не отличался от отца, а противогаз надежно скрывал его лицо. Разве что сил в нем было больше и работа у него спорилась, но это видел только Клинцов. И молчал. «Какими бы ни были обстоятельства, — подумал он, — сын вправе пожалеть своего старого отца».

Работали до вечера, с небольшими передышками. Впрочем, о том, что наступил вечер, определили только по часам: тьма так и не рассеялась. Совсем

выбились из сил, когда перетаскивали к штольне электростанцию: совмещенный с генератором и укрепленный на стальных полозьях двигатель. Во всей этой машине было килограммов триста. Впряглись в нее впятером, двигали рывками. На полпути заспорили, надо ли тащить ее к штольне. Решили, поспорив, что надо: иначе, чтобы запустить электростанцию, Вальтеру Шмидту пришлось бы всякий раз выходить из штольни. Запускать же ее придется хотя бы для того, чтобы качать из скважины воду. Понадобится также подзарядка аккумуляторов радиостанции, если Вальтеру удастся самому наладить ее. Он сказал Селлвуду, что, вероятно, удастся, если ему позволят разобрать на запчасти хотя бы два транзисторных радиоприемника.

Дотасив электростанцию до входа в штольню, упали в полном изнеможении. А еще предстояло перенести в штольню всякие емкости: бутылки, кастрюли, баки, ведра — для хранения воды и приготовления горячей пищи.

— Следовало бы сделать это в самом начале, — сокрушался Селлвуд. — Боюсь, что все это уже заражено. Холланд потом проверит с помощью своего счетчика.

Перенесли также одежду, постельное белье, мелкие личные вещи. Все это свалили в глубине штольни, не донеся до зиккурата, до камер, в которых укрылись женщины и остальные члены экспедиции. Таково было распоряжение Селлвуда, опасавшегося, что одежда, белье и вещи также заражены.

В завершение работ предстояло сделать еще два важных дела: подвести к штольне водопровод и протянуть от электростанции до помпы кабель.

— Поесть бы, — сказал во время короткой передышки в штольне Глебов. — Нет никаких сил.

— Чтобы поесть, — ответил Селлвуд, который, отдыхая, лежал на спине, широко раскинув руки, — надо войти в камеры. А войти туда в этой одежде мы не можем. Придется потерпеть. Когда сделаем все необходимое, сбросим с себя одежду, помоемся и войдем, — он приподнялся, отстегнул от ремня флягу с водой и протянул ее Глебову.

— Голые войдем? — спросил Клинцов, подумав, что его вопрос вызовет ободряющий смех.

— В трусах, — серьезно ответил Селлвуд.

Смеха не получилось. И не потому, что ответ Селлвуда прозвучал серьезно, а потому, что все слишком устали. Глебов от фляги Селлвуда отказался.

— У меня есть своя, — сказал он. — Спасибо.

Когда Глебов, выпив воды, завинтил флягу, Селлвуд сказал:

— Придется вызвать Вальтера: только он сумеет правильно подсоединить кабель. Нельзя допустить, чтобы мы испортили помпу или электростанцию. Такая порча будет стоить всем нам жизни. Приказываю вам, Холланд, позвать Вальтера.

— И передать ему противогаз? — спросил Холланд.

— И передать противогаз. Но вы после этого останетесь здесь. Все-таки здесь менее опасно, чем там, снаружи. Вы поняли?

— Я понял, — Холланд встал и углубился в штольню.

— Почему бы и тебе, Майкл, не посидеть здесь вместе с Холландом, — предложил Клинцов. — Теперь, когда все ясно, мы обойдемся и без тебя.

— А это не твое дело! — грубо ответил Селлвуд. — Будешь командовать, когда я передам тебе мои полномочия.

Холланд вернулся с Вальтером через несколько минут. Вальтер нес в руках противогаз Холланда.

— Как вы? — спросил Вальтер, садясь рядом с Селлвудом.

— Что нового у вас? — вопросом на вопрос ответил Селлвуд. — Не заговорил ли эфир?

— Нет. По-прежнему шум и треск. Больше ничего. Только шум и треск.

— Как ведут себя люди?

— По-разному, — ответил Вальтер. — Сенфорд мрачно философствует, женщины пытаются описать все случившееся, студенты Толя и Коля играют в карты, повар Омар с сыном начали готовить ужин...

— Как ты сказал? — перебил Вальтера Селлвуд. — Повар Омар? А это кто? Ты не ошибся?

Не успел Вальтер ответить, как сын Омара — его звали Ахмад — бросился вон из штольни, швырнув к ногам Селлвуда противогаз.

— Стой! — крикнул ему вслед Селлвуд. — Стой, болван!

Но Ахмад не остановился.

Воцарилось гнетущее молчание: все понимали, что случилось непоправимое.

Первым заговорил Глебов:

— Это первое следствие ваших угроз, — сказал он Селлвуду, — вашего неограниченного диктаторства. На словах, конечно, — добавил он. — Мы-то понимали, что от ваших словесных угроз до выстрелов из пистолета — непреодолимая дистанция. А это дитя пустыни, где слов на ветер не бросают, приняло ваши угрозы всерьез. И вот — погибло.

— Почему — погибло? Мы сейчас найдем его: он не такой дурак, чтоб убежать далеко. Вы сами ему объясните, почему надо вернуться. Если он не вернется, мы накажем его отца.

— За что? Вина сына ляжет на отца?

— Разумеется.

— Чепуха, Селлвуд: это логика иезуитов. Ахмад ее не поймет. Знает же он теперь только одно: свою вину он искупит добровольной смертью в пустыне. И все, Селлвуд, все!

— Увидим. Все наденьте противогазы, пожалуйста, — попросил он, протянув противогаз Ахмада Холланду. — А вы, мистер Глебов, научите меня, как произнести на языке Ахмада фразу: вернись, Ахмад, мы тебе все простили.

Селлвуд оказался хорошим учеником: перевод Глебова он запомнил с первого раза.

— А теперь попробуем найти беглеца, — сказал Селлвуд и направился к выходу из штольни. Все пошли за ним, надевая на ходу противогазы.

Поиски Ахмада, как и предсказывал Глебов, закончились безрезультатно. Час времени и какая-то часть шансов на выживание были потеряны.

— После завершения работ мы пошлем на поиски Омара и его оставшегося сына, — приказав прекратить поиски, сказал Селлвуд. — Уж они-то непременно его найдут, несчастного беглеца.

О том, что надо поступить именно так, Клинцов подумал еще до начала поисков, но почему-то не сказал об этом Селлвуду. Вероятно, потому, что пощадил его самолюбие, которое было уязвлено Глебовым. А может быть, пощадил свое: ведь Селлвуд мог и не согласиться с его мнением.

Вальтер занялся кабелем, а Глебов, Холланд, Клинцов и Селлвуд — водопроводом. Вальтер закончил свою работу быстрее, чем «водопроводчики», и присоединился к ним, когда они рыли канаву для шланга уже на подступах к штольне. С приходом Вальтера работа пошла заметно быстрее. Через полчаса водопроводный шланг, протянутый от помпы до штольни, был уложен в канаву и засыпан песком.

— Теперь проверим, все ли мы сделали ладно, — сказал Селлвуд, садясь у каменной горки, из которой торчал конец толстого прорезиненного шланга. — Запускай станцию, — приказал он Вальтеру, — и включи помпу.

Струя воды ударила Селлвуду в грудь с такой силой, что он закричал от боли,

отскочил от шланга и замахал на Вальтера кулаком, требуя, чтобы тот немедленно уменьшил подачу воды.

— Шланг лопнет, черт возьми! — заорал он, когда Вальтер в ответ на его требование засмеялся. — Если лопнет шланг, я тебя пристрелю! Ведь другого шланга нет!

Вальтер бросился к реостату и снизил подачу тока на помпу. Вода из шланга потекла спокойной струей.

— Что дальше, мистер Селлвуд? — спросил Холланд, подставляя под струю ладони. — Мы можем теперь помыться, сбросить одежду и явиться в зиккурат в трусах?

— Нет, — ответил Селлвуд. — Мы должны теперь завалить вход в штольню. Иначе штольня станет прибежищем шакалов и насекомых. Хотя главный наш враг — не они, а радиация. Конечно, конечно, — махнул он рукой в сторону Глебова, собиравшегося возразить ему, — мы оставим лаз и не только для того, чтобы через него смогли выйти Омар и его сын. Кстати, как зовут оставшегося сына? — спросил он у Глебова.

— Саид.

— Хорошо, Саид. Тот — Ахмад, а этот — Саид. Так вот, мы оставим лаз не только для них, — продолжал Селлвуд. — Лаз понадобится для Вальтера, когда придет время дозаправить электростанцию горючим. Надеюсь, вы понимаете, что она останется по ту сторону завала, чтобы не отравлять воздух штольни выхлопными газами. Теперь о воздухе: когда мы завалим вход в штольню, никто не сможет сказать, на какое время хватит нам находящегося в ней воздуха и насколько он окажется чистым. Когда начнем задыхаться, разрушим завал: авось к тому времени радиационная обстановка улучшится...

Лаз же сделаем так: вырежем автогенном донья у одной из пустых железных бочек. Она-то и будет лазом в завале, который легко будет законопатить. Обложили камнями водопроводный шланг на участке предполагаемого завала, чтоб его не раздавило, притащили автогенный аппарат, вкатили пустую бочку из-под горючего.

— Подождите! — остановил Холланд Вальтера, когда тот подошел к бочке с зажженной горелкой. — Я вспомнил один случай, когда вот так же надо было вырезать автогенном дно в бочке из-под горючего. На стенках бочки осталось горючее. От нагрева в бочке образовались пары, которые взорвались и разнесли бочку. Автогенщик погиб.

— Спасибо, Джеймс, — похвалил Холланда Селлвуд. — Что ты предлагаешь?

— Надо насыпать в бочку песка, потом смочить его водой.

Предосторожность оказалась своевременной: стенки бочки были в мазуте. Очистили их с помощью все того же песка, положили бочку у входа и обрушили потолок, повалив подпорки. Завал оказался больше, чем ожидали. Пришлось раскапывать подход к лазу, то есть к бочке, не только изнутри, но и снаружи.

Вальтер перенес в штольню пусковой пульт электростанции, удлинив провода, соединявшие его со стартером. Подсоединил к этому же пульту включение водяной помпы на скважине.

— Кажется, все, — сказал он, вытирая подолом рубахи пот с лица. — Надо снова все опробовать.

— Давай, — разрешил Селлвуд.

Вальтер запустил электростанцию, затем включил помпу. Вода пошла не сразу, все пережили момент затаенной паники, а когда она пошла, бросились к струе и стали прыгать перед ней, дурачась, как дети. Но сил было мало, все быстро выдохлись. Да и Селлвуд приказал остановиться.

Все разделись. Одежду выбросили из штольни. Стали тщательно мыться под

струей, не жалея воды, благо, что она вся тут же уходила в песок, не образуя лужи. Выжали трусы, причесались и, прихватив с собой фонари и противогазы, направились в глубь штольни, к зиккурату.

Мысль о том, что исполнен долг, не радовала и не согревала: возможно, что ценою их жизней куплена лишь временная безопасность укрывшихся в камерах зиккурата. Никто не будет спасен, лишь продолжительнее станет агония. Значит, ничего не добыто для жизни, труд был напрасен, и долг не исполнен. Хотя они старались. И совесть их должна быть спокойна. Но жизнь, черт возьми, все же следует отдавать за жизнь...

— Теперь — ожидание, — сказал шедший рядом с Клинцовым Селлвуд.

— Ожидание чего?

Селлвуд взглянул на Клинцова и не ответил.

Селлвуд, конечно, стар. Дряблокожий, сутулый, костлявый, как корова в бескормицу, давно облысевший, в старческих пигментных пятнах. Идет босиком, потому что вместе с одеждой выбросил и ботинки, припадает на обе ноги: черепки и песок колют ему ступни. В одной руке держит электрический фонарик, в другой — противогаз и пистолет.

— Зачем ты оставил пистолет, Майкл? Надо было выбросить, — сказал Клинцов.

— Пригодится, — коротко ответил Селлвуд. — Потому что самое трудное — впереди: нет философии выживания.

— О чем ты, Майкл?

Теперь нашей философией должно стать ожидание. Ожидание в атмосфере дружелюбия, взаимопомощи и надежды. Никто не должен падать духом и искать смерти для себя и для ближнего. Ты согласен?

Разумеется, Майкл, — ответил Клинцов.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Это была идея Клинцова: пробиться к нижней ступени зиккурата не с вершины холма, не через многометровую толщу земли и кирпичами, а сбоку, проложив к нему в мягком теле Золотого холма штольню. Работы по прокладке штольни длились более трех месяцев. День, когда штольня подошла к стене башни, был для всех большим праздником. Селлвуд тогда сказал, хлопая ладонью по кирпичам обнажившейся стены нижней башни зиккурата:

— Если за этой стеной что-то есть, Степан, ты станешь одним из славнейших археологов мира.

— А ты? Разве мы не вместе? — смеялся радостно Клинцов. — Ведь мы вместе, Майкл! Ты тоже станешь одним из славнейших археологов мира!

— Если за этой стеной что-нибудь есть. Давай пробьем ее, — предложил Селлвуд. — Это не так уж сложно: толщина стены — не более двух с половиной метров. И мы уже сегодня узнаем, что там.

— Нет, Майкл, — возразил Клинцов. — Ведь мы договорились, что войдем в башню через дверь, а не через пролом, что мы не будем разрушать то, что и без нас разрушено людьми или временем.

— Конечно, договорились. Но я сгораю от нетерпения!

— А я-то думаю: почему здесь так жарко? Оказывается, ты горишь, Майкл!

— Вдоль стены мы можем двигаться еще месяц или два, так и не обнаружив никакой двери: ведь тут сплошной обрушившийся кирпич.

— Селлвуд ошибся. Штольня подвела их к входу в башню уже через неделю. Раскопав вход, они оказались в глухой тесной камере, из которой никуда больше

нельзя было попасть. Камера к тому же оказалась абсолютно пустой, если не считать горки истлевших собачьих костей в дальнем правом углу.

Это конура, — сказал Селлвуд. — Вот так открытие — нашли собачью конуру! Нет, я больше не могу ждать, Степан! Давай пробьем стену! Я требую!

— Майкл, — попытался успокоить его Клинцов. — Если это конура, как ты говоришь, то ведь она должна быть рядом с чем-то таким, что следовало охранять. Значит, рядом настоящий вход! В двух-трех метрах, не больше...

— Не верю. Я сейчас или разорвусь от нетерпения, или прошибу стену головой!

— Тогда уйди! — приказал ему Клинцов. — Немедленно уйди! Поброди по пустыне и успокойся. Я позову тебя, когда мы доберемся до настоящего входа.

До настоящего входа в башню они добрались через два дня. Это случилось три недели назад. Все эти три недели они обследовали обширный лабиринт камер и переходов нижней башни зиккурата, не найдя в нем пока ничего такого, что привлекло бы их внимание. Хотя уже само открытие лабиринта было значительным событием, которому больше всех радовался Сенфорд, архитектор.

Лабиринт привел их к жертвеннику — большому плоскому камню, поставленному у колодца. Помещение, в котором были жертвенник и колодец, оказалось самым большим из всех, которые удалось обнаружить. На дне колодца, вырытого в центре пола, лежали крупные неотесанные камни. В щелях между камнями была пережженная земля.

Повар Омар превратил жертвенник в разделочный стол. На него же он поставил примус, на который водрузил большую кастрюлю. Примус шипел. Из кастрюли распространялся запах макарон. Кухарить Омару помогал его сын Саид.

Селлвуд, Клинцов и Глебов — последний в качестве переводчика — пришли к Омару чтобы сообщить ему о пропавшем Ахмаде.

— Старик, ты должен выслушать нас спокойно, — сказал Омару Селлвуд. Глебов перевел: «Омар, слушай нас и отвечай нам спокойно: от этого разговора с мистером Селлвудом зависит судьба твоего сына Ахмада».

— Почему у вас получилась такая длинная фраза? — спросил у Глебова Селлвуд. — К тому же вы произнесли, я явственно это слышал, имя Ахмад, которого я еще не произносил.

— Вам показалось, — ответил Глебов без тени смущения.

— Ну, хорошо, — поморщился Селлвуд. — Все же переводите сказанное мной без извращений. Итак, я продолжаю. Переводите: ваш сын и вы нарушили мой приказ, следствием чего явилось то, в чем мы неповинны.

Глебов перевел: «Ваш сын убежал в пустыню, когда мистер Селлвуд узнал его. Мы искали его целый час, но не нашли».

— Все перевели? — спросил Селлвуд.

— Да, — ответил Глебов.

— Тогда продолжайте: ваш сын Ахмад, боясь быть разоблаченным в своем проступке, скрылся в пустыне. Мы его долго искали, обещая ему наше прощение, но он не откликнулся. Долго находиться в пустыне — опасно для жизни.

Поскольку проступок сына является одновременно и вашим проступком, старик, вы сами теперь попытайтесь спасти сына. Вы отправитесь в пустыню искать его.

«Ахмад, наверное, боится нас, — перевел Омару Глебов. — Вы сами должны найти его и привести сюда: долго оставаться в пустыне — смертельно опасно».

— Мистер Селлвуд не станет его наказывать? — спросил Омар.

— Нет, — ответил Глебов.

— О чем он спрашивает? — поинтересовался Селлвуд.

— Можно ли немедленно отправиться на поиск.

— Это надо сделать немедленно. Но, — поднял кверху палец Селлвуд. — Но я

еще не все сказал. Второй мой приказ заключается в следующем: ни здесь, ни в других помещениях, ни в штольне отныне не разрешается разводить огонь, так как он в огромных масштабах пожирает кислород, который необходим нам для дыхания. Пользоваться только электрическими фонарями. Но этот ужин пусть он доварит — так уж и быть, побалуемся горячим ужином в последний раз.

— Доваривать ужин остался Саид. Омара, снабдив его противогазом и фонарем, выпустили через лаз из штольни. Ужинали у жертвенника.

— Словно боги, слетевшиеся на жертвенную снедь, — сказал Сенфорд.

— Не забудьте, что у вас за спиной колодец, — напомнил ему Селлвуд, — не свалитесь туда, уважаемый бог.

— Кстати, для чего здесь колодец? — спросил Сенфорд. — Судя по всему, в нем никогда не было воды. Да и не колодец это вовсе, а скорее яма, вырытая под фундамент. Слушайте, Селлвуд, а не стояла ли на месте колодца на прочном основании статуя какого-нибудь бога, для которого был сооружен и этот жертвенник?

— Возможно, — ответил Селлвуд.

— И какой это был бог?

— Я и сам хотел бы знать это, но кто скажет, какой это был бог?

— Вы не о том говорите, — сказала Жанна.

— Возможно, — согласился Селлвуд. — Но потом мы ничего не знаем.

Отныне наш удел — ожидание. Только ожидание.

Накормив всех ужином, из штольни на поиски брата вслед за отцом отправился и Саид. До лаза его проводил Вальтер.

— Что там видно, что там слышно? — спросил Вальтера Сенфорд, когда тот возвратился.

— Ничего, — ответил Вальтер. — Я из штольни не выходил: так было приказано.

— Ах, какие мы дисциплинированные, когда дисциплина прикрывает наши пороки! — съязвил Сенфорд.

— Какие пороки? — вспыхнул Вальтер. — Говорите до конца!

— Ну, например, нелюбознательность. Это большой порок, — кривясь в усмешке, ответил Сенфорд. — И еще постоянная забота о том, как бы не повредить себе, если высунешься... в данном случае — из штольни...

Вальтер шагнул к Сенфорду и ударил его по лицу.

— Все были ошеломлены поступком Вальтера, хотя, кажется, никто не пожалел Сенфорда. Даже Селлвуд не сразу нашел, что сказать. И лишь когда Сенфорд, упавший от удара Вальтера, поднялся на ноги и бросился на Вальтера с кулаками, смешно, петушком, подпрыгивая на своих тонких ногах, вопя что-то бессвязное, Селлвуд выстрелил в потолок, шарахнулся в сторону от кирпичных осколков, вышибленных из потолка пулей, и закричал:

— Прекратите! Разведу по карцерам!

Коля и Толя разняли дерущихся. Коля держал Сенфорда: он был такой же маленький и тощий, как Сенфорд, Толя, в котором, как однажды выразился Владимир Николаевич, была сила неоколесная, мыча, прижал к стене Вальтера, с трудом его удерживая.

— Прекрасно, — похвалил студентов Селлвуд. — Будете при мне выполнять роль полицейских.

— Милиционеров, — подсказал Владимир Николаевич.

Хорошо, милиционеров, — согласился Селлвуд. — А теперь отпустите драчунов. Надеюсь, они уже успокоились. И пусть они подойдут ко мне.

Сенфорд и Вальтер подошли к Селлвуду, который присел на выступ фонарной ниши, стали рядом.

— Извинитесь друг перед другом, — потребовал Селлвуд.
— Никогда! — выкрикнул Сенфорд.
— Извините, мистер Сенфорд, — сказал Вальтер, поклонившись в его сторону.
— Никогда! — еще сильнее закричал Сенфорд. — Бош проклятый, немчура, солдафон! Я тебя ночью зарежу!
— Сенфорда вон в ту камеру, — приказал студентам Селлвуд. — Втолкните его туда и заложите вход кирпичами.
— Я и вас зарежу! — стал вырываться из рук студентов Сенфорд. — Всех перережу!
— Отпустите его, — посоветовал Селлвуду Клинцов. — У него обыкновенная истерика. Дайте ему воды.
Студенты отпустили Сенфорда. Миссис Селлвуд поднесла ему кружку воды. Сенфорд жадно и долго пил воду, тер губы рукой, упорно смотрел в угол и, наконец, сказал, повернувшись к Вальтеру Шмидту:
— Извините, Вальтер. Я не знал, что вы дикарь, что на словесную шпильку вы отвечаете кулаком.
— Ладно, отойдите от меня, — замахал на Сенфорда и Вальтера руками Селлвуд. — Надоели! Отойдите!
— Тебе тоже принести воды, Майкл? — спросила мужа миссис Селлвуд.
— Ах, Дениза, — вздохнул Селлвуд. — Если бы ты только знала, как я устал. Где наши апартаменты? Веди меня. Я смертельно устал.
Селлвуд, как про себя отметил Клинцов, употребил слово «смертельно», совсем не подумав о том, что теперь оно звучит совсем иначе, чем прежде.
— Надо дождаться возвращения Омара, — напомнила мужу миссис Селлвуд. — Возможно, что еще понадобится твое вмешательство, Майкл.
— Да, да. Возможно, — согласился Селлвуд и откинулся в нишу, словно на спинку кресла, скрестив руки на груди. — Подремлю, однако, — сказал он, закрывая глаза. — Сил нет, Дениза.
— Хорошо, я разбужу тебя, когда вернутся Омар и Саид, — сказала Дениза и села на пол у ног Селлвуда. — Здесь хорошо уже тем, что нет комаров и скорпионов, — добавила она. — И не так душно, как там. Правда, я ощущаю запах тления.
— Пахнет из ямы, — отозвался на ее слова Сенфорд. — Вероятно, туда сбрасывали потроха жертвенных животных и сливали их кровь. Они гниют и пахнут.
— Чепуха! — ответил ему Клинцов. — Никакие потроха не могут пахнуть тысячу лет.
— А потроха Сенфорда непременно пахли бы, — вставил свое слово Вальтер.
— Уймись, — попросила Вальтера Жанна. — Будем щадить нервы друг друга. Они нам еще понадобятся.
— Для чего понадобятся? Что вы хотите этим сказать, миссис Клинцова? Что у нас впереди — испытание пострашнее? — забросал Жанну вопросами Сенфорд.
— Вы все время болтаете, Сенфорд, потому что вам страшно, — сказала Жанна. — Мне тоже страшно, но я молчу: щажу других.
Клинцов подошел к сидящему у стены Холланду и сел рядом. Тень от абажура электрической лампы, стоявшей на алтаре, закрывала этот угол. Холланд выбрал его именно поэтому. Сидел и дремал.
— Не помешаю? — спросил Клинцов.
— Самую малость. Как раз сон видел. Не помню что. У вас вопрос?
— Да. Как ведет себя счетчик Гейгера здесь, в лабиринте?
— Спокойно. Здесь — спокойно. Но кислорода — при условии, что мы

закупорены герметично, что мы не будем по несколько раз в день открывать лаз в штольню — по моим подсчетам, хватит ненадолго. Вместе с наружным воздухом сюда врывается поток радиоактивной пыли, то есть нельзя открывать лаз. Нас можно вытащить отсюда только на вертолете. Всякая попытка передвижения по земле будет смертельно опасной и через несколько месяцев. Но нам отпущено гораздо меньше. Если базы нет, если она уничтожена, то ни из какой другой точки нас вертолетом не достать. И вот что я еще думаю, — помолчав, добавил Холланд. — Если эта катастрофа обширна и серьезна — там паника, там о нас никто не вспомнит. А когда вспомнят, решат, что мы уже погибли: ведь никто и предположить не сможет, что мы ушли в холм. Вам ясна моя мысль?

— Ясна, — ответил Клинцов.

— И потому прав Селлвуд: только ожидание.

— Если Вальтер наладит передатчик...

— Да. Тогда наши шансы возрастут. Но при условии, что нас кто-нибудь услышит и что база не уничтожена.

— Если база не уничтожена, о нас позаботится Филиппо.

— Это тоже шанс, но... если база не уничтожена.

— Вы предполагаете, Холланд, что взорвалась база?

— А что же еще?

— Да-а, — вздохнул Клинцов и встал. — Стало быть: только ожидание...

Сенфорд сидел на краю ямы, спустив в нее ноги. Его жидкие волосы были всклокочены, рубашка на спине разорвана — постарался Вальтер или студенты. Упершись подбородком в ладони, он смотрел в яму.

— Воняет, — сказал он проходившему мимо него Глебову. — Разве вы не чувствуете, что воняет?

Глебов остановился и предложил:

— А вы уйдите отсюда. Зачем вы нюхаете эту яму?

— Вот, мистер Глебов! Сами того не подозревая, вы высказали один из самых порочных принципов нашей дерьмовой цивилизации: отойди, отвернись, забудь — и все решение, проблемы не существует. Не нравится запах от ямы — отойди от ямы, не нравится человек — отвернись от этого человека, не нравится общество — беги из этого общества — А если не нравится жизнь, не нравится смерть — как тогда спасет нас этот принцип? Мы забыли Канта, мистер Глебов. И все по той же причине, в силу того же принципа: нам не нравятся требования, какие Кант предъявлял к нашим поступкам. Если помните, он говорил: поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать принципом всеобщего законодательства. Но разве может стать принципом всеобщего законодательства принцип, о котором мы толкуем: не нравится — отойди... Может или не может, мистер Глебов?

— Согласен: не может, — ответил Глебов.

— Bravo! — похвалил его Сенфорд. — Стало быть, отбросим его. А какой примем? Присядьте, — предложил он Глебову, — мне неудобно смотреть на вас снизу — шее больно.

Глебов присел на корточки.

— Так какой принцип изберем? — повторил вопрос Сенфорд.

— В отношении чего?

— В отношении того, что произошло, что происходит сейчас со всеми нами.

Ведь мы пока только уходим от проблемы, отворачиваемся от нее: авось она решится сама собой. Мы избрали тактику ожидания.

— А что предлагаете вы, мистер Сенфорд? — спросил Глебов.

— Вы же умный человек и должны понять, что ожидание чревато ужасами.

Ведь ожидание — это протяженность во времени, не правда ли?

— Разумеется.

— И больше шансов на выживание у того, чье ожидание будет длиннее?

— Кажется, так, — согласился Глебов.

— А чье ожидание будет длиннее? От чего зависит его продолжительность?

От наличия пищи, воздуха, здоровья. Если мы разделим все это поровну, наше ожидание будет в равной мере для всех коротким. И потому наше ожидание с неизбежностью превратится в борьбу каждого против всех — за лишний кусок хлеба, за лишний глоток воздуха, за дополнительную безопасность. Ведь высшего судьи нет, мистер Глебов: ни бога, ни общества. А пистолет Селлвуда может стать достоянием любого из нас. Вне общества — человек только животное. Это, кажется, и ваш, марксистский принцип. Ожидание — это распад личности, озверение и кошмарная гибель. Вот до чего я додумался, нюхая эту яму. Селлвуд ввел этот принцип по недомыслию, он первый дал толчок распаду. Ведь что он сделал, мистер Глебов? Он разделил нас — а мы с этим согласились! — на две категории: на людей, которые, жертвуя собой, заботятся о других; и на людей, которые принимают заботу других и их жертвы. Вы — среди первых, я — среди вторых. Старики и молодежь. Если вы облучены, то вы обречены на преждевременную и геройскую смерть, а мы — только на ожидание. И уже без вас — без общества, без совести... Селлвуд спас то, что следовало уничтожить — зверя... Что вы скажете на все это?

— Только то, что опасно нюхать яму, Сенфорд.

— Это не ответ.

Разговор Глебова и Сенфорда был прерван возвращением Омара и его сына. Омар и Саид подошли к Селлвуду и остановились в молчании. Селлвуд взмахом руки пригласил Глебова подойти к ним.

— Спросите у них, что они хотят сказать, — попросил Глебова Селлвуд.

Глебов спросил и перевел ответ Омара.

— Мы нашли Ахмада, — ответил Омар. — Но он убит. Пуля пробила ему затылок. Пистолет есть только у тебя, господин. И я хочу посмотреть, сколько патронов осталось в обойме.

— Стреляйте в них, — посоветовал Селлвуду Сенфорд. — Ведь вы ничего им не докажете: у вас не хватает одного патрона.

— Что ответить Омару? — спросил Глебов.

Ответьте правду: в обойме не хватает одного патрона, но я не убивал его сына, я выстрелил один раз здесь, когда подрались Вальтер и Сенфорд. На потолке осталась отметина — в этом нетрудно убедиться.

Селлвуд встал и протянул Омару пистолет. Омар ловким движением извлек из пистолета обойму и быстро пересчитал патроны.

— Теперь пусть господин покажет мне отметину на потолке, — попросил он Глебова.

Подняли к потолку лампу. След пули был хорошо виден. Омар заправил обойму патронами, вставил ее обратно в пистолет и возвратил его Селлвуду.

— Кто же тогда убил моего сына Ахмада? — спросил он Селлвуда. — Если пистолет есть только у тебя, то убить мог только ты, господин. Но если убил не ты, значит, оружие есть не только у тебя. Если же все-таки правда то, что убил не ты и что ни у кого больше нет оружия, надо предположить, что кто-то ч у ж о й с пистолетом бродит вокруг Золотого холма.

— А не было ли оружия у Ахмада? — спросил Глебов.

— Нет, — ответил Омар.

— Где же тело убитого? Спросите, мистер Глебов, где тело убитого, — Селлвуд спрятал пистолет в карман. — Надо его осмотреть при свидетелях и похоронить.

Омар и Саид втоптали тело убитого в штольню, положили вниз лицом, Селлвуд склонился над убитым, осветил его затылок. Не было никакого сомнения, что череп Ахмада пробит пулей.

— Мы похороним его на холме, — сказал Омар. — Обложим камнями, чтобы не вырыли шакалы.

Селлвуд предложил Омару свой пистолет.

— Если убийца ходит вокруг холма, он снова может напасть, — объяснил Селлвуд.

— Убийца сидит в холме, — ответил Омар, но пистолет взял.

— Вы совершили непростительную глупость, — сказал Селлвуду Сенфорд, когда Омар и Саид вынесли труп Ахмада из штольни. — Впрочем, уже не первую. Похоронив сына, Омар вернется и пристрелит вас.

— Перестаньте каркать! — разозлился на Сенфорда Селлвуд. — Скорее всего, он пристрелит вас: ведь это вы, Сенфорд, советовали мне стрелять в них, в Омара и Саида, когда они вернулись.

— Я говорил по-английски, а Глебов мои слова не перевел, — возразил Сенфорд. — Ведь так, мистер Глебов?

— Так.

— А вас, Селлвуд, Омар пристрелит, — продолжал Сенфорд, — потому что Ахмада убили вы.

— Вы переступаете грань дозволенного, — сказал Сенфорду Клинцов. — Обвинение слишком серьезное для того, чтобы вот так играть им. Извинитесь, Мэттью. Это самое лучшее.

— Но я не играю! Я говорю правду!

— Правда требует основания. У вас оно есть?

— Есть!

— Тогда, — развел руками Клинцов, — тогда давайте послушаем, друзья, какое у Сенфорда есть основание.

— Я бы ввел в наш кодекс ожидания запрет на всякого рода домыслы, подозрения и поклепы, — сказал Холланд. — Давайте решим это сейчас же, — предложил он, — и запретим Сенфорду болтать.

— Но я настаиваю! — потребовал Сенфорд. — И плевать мне на ваш кодекс ожидания! Селлвуд, вы боитесь правды?

— Пусть говорит, — сказал Селлвуд. — От его вранья нас не убудет. Валяйте, Сенфорд! Я слушаю.

— Покорнейше благодарю, — поклонился Селлвуду Сенфорд, шаркнув ногой. — Ваша милость безгранична. И мужество, Селлвуд. И мужество! Ведь вы готовы выслушать правду!

— Не кривляйтесь, Сенфорд, давайте вашу правду. В чем она?

— Как, разве вы еще не знаете? Вы убили Ахмада, Селлвуд. Вот вам и вся правда.

— С чего вы взяли? — вздохнул Селлвуд. — И как вы пришли к такому дурацкому выводу? Объясните.

— Хорошо, объясняю: если пистолет был только у вас, Селлвуд, то выстрелить в Ахмада могли только вы.

— Зачем? Зачем мне понадобилось в него стрелять? Вы в своем уме, Сенфорд?

— Когда вы были там, вне штольни, и искали Ахмада, вы стреляли наугад в темноту, чтобы привлечь выстрелами внимание Ахмада. И вы, Селлвуд, случайно попали в него.

— Селлвуд рассмеялся.

— А что вас так развеселило? — спросил Сенфорд.

— Дело в том, что я не стрелял. Это могут подтвердить все, кто был со мной.

Холланд, Клинцов, Вальтер и Глебов тут же подтвердили, что Селлвуд не стрелял.

То есть, вы хотите сказать, что не слышали выстрелов, — стоял на своем Сенфорд. — Но вы не слышали выстрелов потому, что были в противогазах и в какой-то момент находились далеко друг от друга, от Селлвуда.

— Но в пистолетной обойме были все патроны, кроме одного, который я выстрелил, когда вы подрались, — возразил Селлвуд. — Омар ведь на ваших глазах проверял обойму.

— Все верно. Но вы вставили в обойму недостающие патроны еще до того, как выстрелили в потолок. Вы это сделали, когда сбросили с себя здесь запыленную одежду. У вас в кармане были патроны и вы их вставили, чтобы не выбрасывать вместе с брюками. Ну, вспомните, Селлвуд.

— Я не могу вспомнить то, чего не было.

— Ладно, допустим, что стреляли в Ахмада все-таки не вы, хотя стреляли вы: ведь ни у кого из нас нет оружия. Но предположим невероятное: вокруг холма бродит кто-то ч у ж о й с пистолетом в руке. Станет ли меньшей ваша вина, Селлвуд, от такого невероятного предположения? Нет, не станет. Потому что Ахмад все равно погиб из-за вашего дурацкого приказа, если даже стреляли не вы. Он подменил отца, нарушив этот ваш приказ и, испугавшись наказания, оказался вне штольни, под смертельным облучением. Если бы он не был убит, он все равно бы погиб. Из-за вас, Селлвуд. Только из-за вас. Так что Омар пристрелит вас, а не меня, — закончил Сенфорд.

— Ну и пусть! — сказал Селлвуд. — Если все думают так, как вы, Сенфорд, пусть Омар пристрелит меня. Я буду даже рад... — он хотел еще что-то добавить, но лишь махнул рукой и зашагал в глубь штольни.

— Вы подонок, Мэттью, — сказал Сенфорду Холланд, когда Селлвуд ушел. — И откуда в вас столько яда? Ведь вы отравили Селлвуду всю оставшуюся жизнь. А ради чего? Чтобы выдать свой бред за реальность. Вы, определенно, подонок...

— Выбирайте слова, Холланд. Иначе я скажу кое-что и о вас. Между прочим, есть что сказать.

— Например?

— Ну, например, о том, что вы поначалу скрыли от всех ваш счетчик Гейгера, то, что атмосфера радиоактивна и представляет для нас опасность. Вы сообщили о вашем открытии только Селлвуду. Мы потеряли на этом целый час. И, может быть, жизнь.

— Я был растерян, как и все вы.

— Ничего подобного. У вас сразу же возникла мысль о том, что всем нам надо немедленно укрыться в штольне. Но вы ждали почему-то команды Селлвуда. А Селлвуд ждал мнения мистера Клинцова... Как все это назвать, Холланд? Теперь я думаю, что ваша жертва, возможно, напрасна именно из-за вас: из-за вас мы потеряли время и, таким образом, спасенных нет. Были спасающие, но нет спасенных. Абсурд, бессмыслица!.. Мистер Клинцов, — повернулся Сенфорд к Клинцову, — а что вы обо всем этом думаете? И почему, интересно, вы не взяли власть в свои руки, когда все это началось? Вы, коммунист, могли бы внести иные принципы в ситуацию. Ведь они, кажется, более совершенны, чем общераспространенные? Ну, например, что это за разделение на молодых и старых, которое произвел Селлвуд? Вы, наверное, разделили бы на более полезных и менее полезных? На более достойных и менее достойных? Не могу представить, как разделили бы нас вы. Как же, мистер Клинцов?

— Я присоединил бы вас к команде спасающих. Тогда вас не мучила бы совесть и вы не приставали бы ко всем с глупыми вопросами, Сенфорд. У русских есть пословица: после драки кулаками не машут. Все мы сильны задним умом. А

вот что нам надо сделать, друзья, — обратился Клинцов ко всем. — Надо разоружить под любым предлогом Омара, как только он возвратится. И второе: надо поставить охрану у лаза. Поставому доверить оружие.

— Начинается! — захохотал Сенфорд. — У кого оружие — тот и бог! Кто же первый бог?

Вы, Сенфорд, — ответил Клинцов. — У вас будет прекрасная возможность, чувствуя себя богом, подумать о нас, грешных.

— Я не умею пользоваться оружием, — нахмурился Сенфорд. — Я никогда не держал в руках пистолет.

— Мы вас научим. Это очень просто, — сказал Холланд. — Здесь многие не умеют пользоваться оружием.

— А вы, конечно, умеете?

— Да, умею. Я служил в армии.

— И Вальтер, конечно, умеет? — вспомнил о Шмидте Сенфорд. — Нет такого немца, который не любил бы оружие: война — в немецкой крови. Не так ли, Вальтер? По-моему, даже есть такой пистолет — вальтер. Я где-то об этом читал. А?

Вальтер даже не взглянул на Сенфорда: ему не хотелось затевать с ним ссору снова.

Они не расходились: ждали Омара и Саида. Хотя их можно было дожидаться и в башне. Но кто-то высказал опасение, что в башне они могут не заметить возвращения Омара — задремлют или отвлекутся, — и тогда вооруженный и потрясенный гибелью сына Омар натворит бед. И первой его жертвой — пророчество Сенфорда уже не казалось таким абсурдным — может стать Селлвуд.

Ждали недолго. Омар и Саид возвратились тихие и печальные. По первой же просьбе Клинцова Омар отдал ему пистолет. Сказал, обращаясь к Глебову:

— Я никого там не видел. Но кто-то был.

Глебов растерялся, не зная, стоит ли переводить эти слова Омара. Спросил его:

— Почему ты решил, что там кто-то был?

— Я видел его следы, — ответил Омар.

— Чьи следы?

— Того, кто убил Ахмада. На кухне кто-то доел брошенные там консервы.

— Может быть, это шакалы?

— Шакалы не пользуются вилкой.

— Пора бы уже что-то и перевести, Владимир Николаевич, — напомнил Глебову Клинцов.

— Он говорит, что кто-то был на кухне и доел брошенные там консервы. Там кто-то бродит, — сказал Глебов по-русски.

— Не дожидаясь протеста Сенфорда, Клинцов перевел услышанное на английский.

— Вальтер присвистнул от удивления, у Сенфорда вытянулось лицо.

— Это уже чертовщина, — сказал Сенфорд. — Никого не может быть ТАМ. Разве мы кого-нибудь оставили?

— Я уже думал об этом, — спокойно заговорил Холланд. — Если предположить, что ТАМ все-таки кто-то есть, то этот кто-то или эти кто-то могли появиться лишь одним путем: катастрофа вызвала аварию или вынужденную посадку самолета или вертолета близ нашего холма. Теперь узнайте у Омара, много ли съедено консервов? — попросил Глебова Холланд.

Омар ответил, что съедено две банки, но что больше там и не было.

— Значит, мы не можем судить, сколько их ТАМ, — заключил Холланд. — Или ЗДЕСЬ, — добавил он с раздражением. — Потому что, если они видели

Омара и Саида, когда те выходили в первый раз, они могли последовать за ними и проникнуть сюда, пока мы пересчитывали патроны в пистолете Селлвуда, болтали вздор о яме и так далее.

— Почему же они не обнаруживают себя? — спросил Вальтер.

— Потому, что им нужны не мы, а наше убежище и наши продукты. К тому же они преступники — они убили Ахмада — и не хотят отдавать себя на наш суд, — ответил Холланд.

Дениза увела мужа в камеру, которую она сама выбрала для жилья и где уже была постлана постель и разложены вдоль стен кое-какие вещи, которые удалось перенести из домика. Камера была в нескольких шагах от алтаря, но разговоры, которые там велись, здесь не были слышны: в камеру из алтаря вел трижды изломанный под прямым углом узкий коридор, выложенный из кирпича. Дениза включила свет — аккумуляторную лампу она сама перенесла сюда из дома, — сбросила с ног башмаки и шагнула на постель, застланную клетчатым одеялом, купленным ею давным-давно в Шотландии, где она гостила с Майклом у своих родственников.

— Устраивайся, родной, — сказала она мужу, — ты едва держишься на ногах.

— Да-да, — согласился Селлвуд и тоже сбросил башмаки.

— Они долго лежали молча. Потом Дениза, похлопав легонько Майкла по груди, спросила:

— Ты как себя чувствуешь, дорогой?

— Хорошо, — ответил он. — Устал очень, а в остальном — все хорошо. Не тревожься. Вот отдохну — и снова запрыгаю.

— Тогда спи, — сказала Дениза.

Селлвуд понимал, что хорошо бы теперь уснуть, но сон не шел. И то, что он думал, было ужасно. Он думал о неблагодарности людей, для которых даже отданная за них жизнь — пустяк. Хотя ведь и на самом деле: жизнь отдельного человека — пустяк. Так утвердилось давно. Теперь же, когда человечество узнало о том, что и вся жизнь на земле — пустяк, стоит ли принимать в расчет жизнь какого-то там Майкла Селлвуда?! Только Дениза будет убиваться и — страшно подумать — не переживет его. А чтоб пережила, ее надо крепче связать с жизнью, дать как можно больше поручений, убедить в том, что они чрезвычайно важны, что выполнить их — значит, укрепить память о нем, исполнить завещанное. Последняя мысль посетила его не впервые, потому что ведь не впервые думает о своей смерти: она и прежде была близка, потому что старость заела, потому что перст неведомого уже начертал на стене: мене, мене, текел, упарсин. И то правда: считано, считано, взвешено, разделено. Дни сочтены, дела взвешены, проведена черта, через которую не переступишь — черта, разделяющая мертвых и живых, его и Денизу... Разумеется, он еще жив, но это вот что за жизнь: ты уже выпал из окна верхнего этажа, но еще не долетел до мостовой.

— Дениза, — позвал он тихо жену, которая лежала к нему спиной.

Дениза спала или притворялась спящей: не отозвалась.

— Дениза, — позвал он снова и, не дожидаясь, когда она ответит, продолжал: — Ты помнишь, конечно, ту папку, которая лежит в нижнем ящике моего письменного стола. Я тебе несколько раз показывал ее, чтобы ты запомнила. Черная папка с золотистыми завязками. В ней моя работа о древних городах Месопотамии, рукопись. Там не хватает нескольких глав, но ты найдешь их черновики и наброски к ним в другом ящике, в верхнем. Там же схемы, фотографии, рисунки... Ты знаешь, Дениза, теперь я понимаю, что это — мой главный труд: другого я уже не напишу. Его надо напечатать. Все это не очень просто, но я расскажу тебе, как это сделать...

— Потом расскажешь, — сказала Дениза. — Спи, дорогой.

Он не мог спать. Он понимал, что его мозг уже словно бы отделился от его тела, слабого и обреченного на близкую гибель, отделился в тщетном намерении жить, жить самостоятельно, неусыпно, вечно — гордец и невежда! Но это, кажется, и он сам, потому что, где же он сам, если не в мыслях? «Я мыслю, следовательно, существую». Декарт... Я мыслю, следовательно, познаю. Смерть — последнее знание. Без него душа несовершенна и не завершена... «Чушь!» — сказал себе Селлвуд и снова позвал Денизу.

— Наш дом в Кентукки надо продать. Мои банковские счета поручи адвокату Леммеру. Коллекцию подари университетскому музею...

— Остановись, — попросила его Дениза. — Куда ты так торопишься? Неужели так мало осталось времени?

— Думаю, что мало, — ответил Селлвуд. — Во всяком случае, давай примем это как первый вариант.

— Первый? А каков второй, Майкл?

— О, есть второй, и третий, и четвертый, и пятый... Но все они, дорогая Дениза, из области напрасных надежд. Впрочем, как говорит Клинцов, цитируя какого-то своего поэта, и невозможное возможно. Но реален пока только первый вариант, Дениза.

— Зачем ты принял все это на себя, Майкл? — тихо заплакала Дениза, уткнувшись лицом в плечо мужа. — Ведь ты не только себя погубил, но и меня, Майкл. Я не переживу твоей смерти. Почему ты не додумал об этом?

— Нет! Ты не должна так думать! — Селлвуд приподнялся и сел. — Тогда все бессмысленно! Понимаешь? Если моя жизнь никому не нужна, тогда все бессмысленно!

— Смерть не нужна, Майкл! А жизнь нужна. Ну что ты наделал, что ты наделал?

— Не я, Дениза. Не я. Мы лишь расплачиваемся за чье-то дело.

Они замолчали. Селлвуд снова лег. Вдруг услышали чьи-то приближающиеся шаги.

— Здесь занято! — крикнула в темноту Дениза. — Разве вы не знаете? Шаги замерли. Потом зазвучали снова, удаляясь.

— Кого-то черт носит, — проворчала Дениза. — Ведь уже глубокая ночь.

— В этой ситуации страшно остаться одному, — сказал Селлвуд. — Все ищут собеседника, просто плечо, к которому можно прикоснуться плечом. Человек для человека — всегда утешение, даже если он молчит. И более всего, пожалуй, если молчит. Потому что в словах открываются все наши пороки: глупость, бесчувствие, легкомыслие, злорадство, ненависть — им же нет числа. Но я не ищу сочувствия, Дениза. Просто моя жизнь близится к завершению и мне надо кое-что сказать тебе. Ты должна принять этот вариант, иначе разговор не получится, а он для меня важен.

— Майкл, — сказала Дениза тем умиротворяющим и напевным голосом, которым утешала в далекие годы молодости, — а если все-таки ну хотя бы второй вариант? Вдруг счетчик Холланда врет? И все не так страшно, как мы думаем? Ну, не врет, а просто ошибается. Ведь Холланд не может с его помощью определить дозу облучения. Он сам это сказал. Во всяком случае, он никак не может утверждать, что она смертельна. Может или не может?

— Не может, — ответил Селлвуд. — Но она велика, Дениза. Я сам видел, что творится со счетчиком. Обычно он щелкает редко, а теперь просто свистит. Такая радиация может быть только следствием ядерного взрыва. А то, что творится в небесах, может быть только следствием колоссального ядерного взрыва. Стало быть, облака несут не просто радиацию, а смертельную радиацию. В этом все

дело, дорогая Дениза.

— Значит, мы все могли получить смертельную дозу?

— Могли.

— Вот и хорошо: умрем вместе. А раз это так, о смерти говорить больше не будем. Спи, Майкл, — посоветовала Дениза. — Доверимся providению.

Они не успели уснуть, как снова в коридоре послышались чьи-то шаги.

Осторожные шаги — так если бы человек шел в полной темноте, на ощупь.

— Кто там? — спросила Дениза.

Шаги замерли.

— Поддай-ка мне фонарь, — попросил Селлвуд. — Не нравятся мне эти молчаливые визиты.

Селлвуд стоял, прислонившись спиной к стене, и надевал ботинки, когда из двери вдруг ударил сильный луч света и прогремел выстрел. Свет в ту же секунду погас. Оглушенный выстрелом, Селлвуд не слышал, как удалились шаги. Он поднял с пола фонарик, который освещал его ноги, и повернул его в сторону постели. Дениза лежала, широко раскинув руки, глаза и рот ее были открыты и неподвижны. Селлвуд бросился к жене, уже понимая, что она мертва, какое-то время стоял около нее на коленях, думая с горечью о том, что еще несколько минут назад он талдычил ей о своей смерти, а смерть пришла к ней. Хотя это была его смерть. Эта мысль все повторялась и повторялась, пока он стоял возле Денизы, и чуть не свела его с ума. Это было больше, чем он мог вынести и пережить, это было выше его сил. Его голову, словно магнитом, тянуло вниз, и он знал, склоняясь все ниже и ниже, что, когда упадет на грудь Денизы, перестанет быть самим собой: горе и боль растерзают его. А еще он ждал второго выстрела и почти желал его.

Голос Холланда вернул Селлвуда к жизни.

— Что случилось, мистер Селлвуд? — громко спросил Холланд, появившись в дверях с фонарем.

— Вот, — указал рукой на Денизу Селлвуд. — Кто-то убил ее.

Вслед за Холландом пришли другие: Клинцов с Жанной, Глебов и Вальтер, Сенфорд не пришел, потому что стоял на посту у лаза, студентов не нашли: никто не знал, в какой камере лабиринта они разместились. Позже других появились Омар и Саид. Селлвуд рассказал собравшимся, как все произошло. Впрочем, знал он очень мало: чьи-то шаги в коридоре, яркий свет, выстрел — вот и все. На вопрос Клинцова, кто стрелял, он лишь сокрушенно покачал головой. Потом сказал:

— Но стреляли, видимо, в меня.

— Почему ты так думаешь, Майкл? — спросил Клинцов.

— Потому, что Дениза никому в этом мире не причинила зла.

— Да, конечно, Майкл. Конечно, — сказал Клинцов. — А кому мешал ты, Майкл? Кому он мешал? — обратился Клинцов к стоящим. — Тебе? — он ткнул пальцем в грудь Омара.

Глебов перевел его вопрос.

— Если господин еще раз задаст мне этот вопрос, — ответил Омар, — я на глазах у всех перережу себе горло.

— Пистолет есть только у Сенфорда, — напомнил Вальтер. — Не я, разумеется, должен был об этом говорить, но логика требует, чтобы мы допросили Сенфорда.

— Я хотел бы похоронить Денизу в одной из дальних камер лабиринта, — сказал Селлвуд, когда в разговоре наступила пауза. — Вход в камеру я заложу кирпичом настолько плотно, насколько это требуется.

— Мы все тебе поможем, Майкл, — ответил ему Клинцов. — Но с Денизой

еще не простились студенты и Сенфорд. Все должны проститься с Денизой.

Сенфорд отрицал всякую свою причастность к случившемуся. Да, все это время пистолет находился у него. Да, он мог покинуть пост, войти в камеру Селлвуда и выстрелить. Да, он предрекал гибель Селлвуду. Да, он мог убить Селлвуда, чтобы таким образом подтвердить свое предсказание. Но ничего этого он не делал.

— Не делал! — кричал разъяренный Сенфорд. — Вы понимаете — не делал! — он швырнул на пол пистолет, пнул его ногой, плюнул и зашагал в глубь штольни.

— Остановитесь! — приказал ему Клинцов. — Сенфорд, остановитесь.

— Ну что еще? — обернулся Сенфорд.

— Возвратитесь, — попросил его Клинцов. — У меня есть еще один вопрос? Сенфорд нехотя возвратился.

— Я уверен, что стреляли не вы, Сенфорд, — сказал Клинцов. — Но кто же? Что вы об этом думаете?

— Хорошо, я вам скажу, — подумав, ответил Сенфорд. — Лично я проверил бы две версии: либо у Омара есть оружие, либо в башню проник кто-то посторонний. Ахмада мог убить и сам Омар, из своего оружия, случайно, но признаться в этом не хочет: не хочет быть в наших глазах убийцей сына и не хочет выдать тот факт, что у него есть оружие, потому что оружие в нашем положении — это путь к выживанию. Только дураку это может быть не ясно. Далее: мы все знаем, что пистолет есть у Селлвуда. Омар вину за убийство сына пытается свалить на Селлвуда. И если бы в пистолете Селлвуда не хватало двух, трех или четырех патронов, его вина была бы почти очевидной. Но в обойме не было лишь одного патрона, и мы все были свидетелями, куда выпалил его Селлвуд. У Селлвуда, таким образом, алиби, хотя не на все сто процентов — я уже об этом толковал. Омар это понял и сразу же выдвинул другую версию. Вспомните, он сказал две фразы: первая — вокруг Золотого холма бродит кто-то, вторая — этот кто-то, то есть убийца Ахмада, находится уже в холме. Потом он подтвердил присутствие ч у ж о г о тем, что якобы видел на кухне съеденные кем-то консервы. Кстати, эти консервы он мог съесть сам. И вот новое подтверждение наличия ч у ж о г о — убийство Денизы. Не Селлвуда, заметьте, а Денизы, то есть убийство бессмысленное, немотивированное. Такое, какое мог совершить только ч у ж о й, замысливший истребить всех нас. Всех нас, господа. Если есть ч у ж о й, убийства будут продолжаться.

— Но ч у ж о й может существовать на самом деле, Сенфорд.

— В том-то весь ужас: есть ч у ж о й или нет его — убийства будут продолжаться.

— Где же выход, Сенфорд?

Выход есть, мистер Клинцов: отныне пистолет должен находиться только у вас, а Омара и Саида необходимо арестовать и запереть в какой-нибудь из камер. Если после этого убийства прекратятся — наше счастье. Если нет — будем ловить ч у ж о г о. Кстати, — усмехнулся Сенфорд, — вы напрасно тратили время, допрашивая меня: проще было сразу же пересчитать патроны в обойме пистолета — там, как и прежде, не хватает лишь одного патрона.

— Извините, — сказал Сенфорду Клинцов. — И спасибо вам за вашу версию. Я считаю, — заявил он, обращаясь к остальным, — что мы должны арестовать Омара и Саида. Это первое. И второе: в целях большей безопасности, все должны покинуть персональные камеры и расположиться у алтаря. Теперь, Владимир Николаевич, — попросил Клинцов Глебова, — помогите мне объявить приказ об аресте Омару и Саиду. Только не торопитесь, постарайтесь быть точным: они должны понять, что мы их лишь подозреваем, а не обвиняем. Как только будет

снято с них подозрение, мы их освободим.

— А вы держите на всякий случай наготове пистолет, — посоветовал Клинцову Сенфорд. — Не помешает.

— Не помешает и другое, Сенфорд, — ответил Клинцов. — Одновременно с Омаром и Саидом мы арестуем и вас. Ни в чем вас не подозревая! — остановил он Сенфорда, который готов был уже, кажется, заорать. — Кстати, пока мы тут разговаривали, Вальтер пересчитал патроны в обойме. Сколько теперь патронов в обойме, Вальтер? — спросил Клинцов.

— Теперь не хватает двух, — ответил Вальтер, высыпав патроны на ладонь Клинцова.

Воцарилось долгое молчание.

— Вальтер спрятал один патрон, — первым заговорил Сенфорд. Его трясло, голос его охрип. — Он ненавидит меня. Он сделал это умышленно, он слышал, что я сказал о патронах, и спрятал один. Общайте его! — потребовал Сенфорд. — Немедленно общайте его!

— Успокойтесь, Сенфорд, — сказал Клинцов. — Я следил за руками Вальтера, когда он пересчитывал патроны. Никакого обмана нет: не хватает двух патронов. Это неоспоримый факт, Сенфорд. Да и вы, Сенфорд, все видели. Когда вы посоветовали мне держать пистолет наготове, вы видели, что он у Вальтера и что Вальтер пересчитывает патроны.

— Да! — закричал Сенфорд. — Да, видел! Но вы сделали это раньше, когда я уходил! Вы и Вальтер — оба коммунисты. И вы давно сговорились, что выжить должны только коммунисты!

— Перестаньте, Сенфорд, — попросил Клинцов. — Ведь вы сами потом устыдитесь этих слов. И все же мы вынуждены будем вас арестовать, хотя бы для того, чтобы Омар и Саид не подумали, что подозрение падает только на них.

— Только для этого? — удивился Сенфорд. — А как же быть с недостающим патроном?

— А это, Сенфорд, вы объясните нам сами. Никто из нас не думает, что в Денизу стреляли вы. Надо лишь понять, как исчез патрон. Вы должны понять это первым.

— Украли, когда я спал, — нервно заходил Сенфорд. — Вручили пистолет без патрона. Но в обоих этих случаях из него не стреляли... Стреляли из другого... Я не спал. Я ни секунды не спал. Пистолет мне вручили после того, как он побывал у Омара. Пересчитывал ли кто-нибудь тогда патроны в обойме? Омар отдал после возвращения пистолет Клинцову. Клинцов — мне. Я патроны не считал. А вы, мистер Клинцов? — остановился Сенфорд.

— Я также не считал, — ответил Клинцов. — Значит, так, — резюмировал он, — патрон украли, когда вы уснули, Сенфорд, на посту — то, что вы не спали, еще надо доказать; патрон из обоймы вынул Омар перед тем, как передать пистолет мне; патрон вынул я, передавая пистолет Сенфорду. Первая и третья версии — самые слабые: Сенфорд говорит, что он не спал; я же точно знаю, что патрон из обоймы вынут не мной. Остается вторая: патрон вынул Омар. Для чего?

— Все зависит от того, в чьих руках должен был оказаться пистолет, возвращенный Омаром. У Омара были все основания предположить, что пистолет окажется в руках Селлвуда. Ведь он не знал, что сначала его возьмет Клинцов, а потом — я. Итак, господа, убитой должна была быть не Дениза...

— Прошу простить меня, друзья, — сказал Клинцов, видя, что Жанна подает ему знак рукой, предлагая отойти в сторону. — Я сейчас вернусь. — Он взял Жанну под руку, они прошли несколько шагов в глубь штольни. — Что случилось, Жанна? — спросил он. — Я делаю что-то не так?

— Да, Клинцов, — ответила Жанна. — По-моему, ты лезешь на рожон.

— Я тебя не понимаю.

— А я объясню. Все очень просто: принимая лидерство, ты ставишь себя под пулю.

— Почему, Жанна?

— Просто потому, что убийца охотится за лидером. То, что убита Дениза — случайность. Жертвой должен был стать Селлвуд. И он, если сохранит лидерство, станет жертвой. Это расчет: сначала убрать лидеров, потом — всех впавших в панику остальных.

— И чей же это расчет, Жанна?

— Не знаю. Только ни Омара, ни Саида, ни Сенфорда ты не должен арестовывать. Если они окажутся запертыми в камерах, они станут легкой мишенью для убийцы. Кстати, как ты намерен запереть их в камерах? Ведь здесь нет ни дверей, ни цепей. Ты прикажешь заложить вход в камеры кирпичами? Заложить, оставив отверстие для воздуха и для передачи пищи? Так? Словом, замуровать, как Селлвуд замурует мертвую Денизу? Тебе ни о чем не говорит такая параллель? И потом, Клинцов: все подозрения против Омара следуют из того, что якобы он сам убил своего сына и теперь вынужден совершать новые преступления. Но ведь предположение, что сына убил он — чистый бред, чушь! Бред спятившего Сенфорда. И то, что в Денизу, возможно, стрелял Сенфорд — тоже бред, Клинцов! Перестаньте играть в детективов: не время, не место, мы все в ужасном положении. Опомнитесь — над нами смерть. Убивает же кто-то ч у ж о й! Только в этом вы правы. Ищите немедленно ч у ж о г о. Без болтовни, методично. Потому что ч у ж о й хочет завладеть нашим убежищем, избавившись от всех нас. И никого не надо арестовывать. Помогите Селлвуду похоронить Денизу и ищите ч у ж о г о. Ты понял, Клинцов?

— Да, я понял, Жанна. Спасибо тебе.

— И еще найди минутку, чтобы мы могли поговорить, — попросила Жанна. — Не об этих делах, а о наших, о нас, обо мне и о тебе. Ведь это ужасно: мы можем погибнуть в любую секунду, не успев проститься друг с другом...

— Ну, ну, Жанна, — привлек к себе жену Клинцов. — Только что ты была такой мудрой, такой рассудительной и вдруг... Впрочем, конечно, родная. Я постараюсь выбрать тихую минутку. Обещаю.

Они поцеловались.

— Теперь вернемся, — сказала Жанна. — Патроны верни Вальтеру. Пистолет тоже должен быть у него: он, кажется, единственный из вас, кто умеет метко стрелять. Помнишь, он и Селлвуд как-то соревновались в стрельбе по консервным банкам? Селлвуд не попал ни разу, зато Вальтер продырявил все банки.

— Действительно. Хорошо, что ты напомнила.

Они уже пошли, когда Клинцов вдруг остановился и спросил:

— А не мог ли ч у ж и м стать кто-то из наших? Ведь идея простая: завладеть убежищем, водой, пищей, воздухом, уничтожив всех нас, и таким образом продлить обеспеченный срок ожидания для себя раз в десять.

— Мне кажется, что мы все станем чужими друг другу, если только допустим мысль, что кто-то один из нас уже стал ч у ж и м, — ответила Жанна. — Эта мысль должна стать запретной, Клинцов, нашим табу.

Их ждали. Сенфорд нервничал, ходил взад-вперед, пинал ногами черепки.

Вальтер вертел на указательном пальце пистолет. Холланд подбрасывал одной рукой и ловил камешек. Глебов сквозь очки, словно сквозь лупу, держа их в руке, разглядывал осколок облицовочной плитки. Омар и Саид, смиренно и тихо, сидели у стены.

— Что-нибудь случилось, пока меня не было? — спросил Клинцов.

— Да, случилось! — остановился перед Клинцовым Сенфорд. — Все версии,

которые мы тут обсуждали, оказались ложными. Как мы это установили? А вот как. Вальтер предложил спросить у Омара, не стрелял ли он из пистолета, когда выходил хоронить сына. Оказалось, стрелял. Не Омар, правда, а Саид. Он выстрелил над могилой брата. Так он решил проститься с ним, и Омар ему разрешил. Вот и вся загадка исчезнувшего патрона.

— И прекрасно, друзья, — обрадовался Клинцов и улыбнулся Жанне. — Это избавило нас от целого ряда ошибок. Будем искать ч у ж о г о. Однако обсудим это после похорон Денизы. — Клинцов вернул патроны Вальтеру и сказал: — Я попрошу вас, Вальтер, разыскать наших студентов. И будьте готовы в любой момент пустить в ход оружие, если наткнетесь на ч у ж о г о.

Тело Денизы завернули в простыни, затем вложили в спальный мешок.

— Так ей будет хорошо, правда? — не раз спрашивал у Клинцова Селлвуд. — Так ей будет удобно?

— Да, Майкл, — отвечал Клинцов. — Дениза сказала бы нам спасибо.

Селлвуд сам выбрал для Денизы погребальную камеру в дальнем тупике лабиринта. Теперь он указывал путь к ней, идя впереди процессии с фонарем в руке. Дениза лежала на носилках. Носилки несли Вальтер и Ладонщиков — студент Толя. Остальные двигались за ними, по двое в ряд, потому что коридор был узким, хотя и высоким. Идущие светили фонариками себе под ноги, а над ними, под гулками сводами, висела тьма.

Шли молча. Каждый думал о своем. И все ж каждый отталкивался в своих мыслях от скорбного факта: вот — смерть. Зримая, не моя. Подтверждение банальнейшей посылки банальнейшего силлогизма все люди смертны. А что за смертью? Вечность? Небытие? Увы, вечное небытие... Никто не может пережить свою смерть, чтобы удостовериться в том, что он умер, потому что пережить смерть — значит шагнуть в бессмертие, которого нет. Пока мы живы, смерти нет. Когда она пришла, нас уже нет. Есть вечное небытие. И маленькая надежда, для разумного — несбыточное желание: продлиться. Это говорит в нас сама жизнь — клетки, кровь, лимфа, мозг, сосуществовавшие в интимнейшем единстве и гармонии. Это говорит в нас Я — плод стольких трудов и страданий. Они хотят продлиться, потому что альтернатива: разрушение, распад на простейшие составляющие. Смерть — конец, а не цель, граница импульса, канувшего в океане жизни. И все же не этим страшна смерть. Она страшна своим насилием. У нее, как и у жизни, есть своя энергия, но это энергия разрушения и уничтожения. Смерть бьет и убивает. К ее природной энергии мы, люди, добавили созданную нами: энергию пули, энергию огня, излучения, яда, острия, петли, топора — всего не перечесать. Жизни бы думать о жизни, а она производит смерть...

Кто же даст нам жизнь вечную? Вечную смерть мы уже изобрели — это смерть человечества. Смерть без надежды воплотиться в детях, в делах, в мыслях. Вторая смерть. И о ней они тоже думали, потому что она витала над ними, клубилась над холмом смрадной смесью дыма, пыли и невидимых частиц материи, убивающей все. Материя смерти клубится над холмом, а в холме, по узкому кирпичному лабиринту, движется похоронная процессия, люди, десять живых и одна мертвая.

Селлвуд остановился и сказал:

— Это здесь.

Вальтер и Ладонщиков опустили носилки с Денизой на пол. Селлвуд встал на колени и осветил лицо Денизы. Долго смотрел на нее молча, потом коснулся губами ее лба и сказал:

— Мы все-таки опоздали, Дениза. Ни ты не унесешь моих прощальных слов, ни я не услышу твоих. Я хотел лишь сказать, что любил тебя всю жизнь, что

благодарен судьбе, пославшей мне тебя. Я был счастлив с тобой, Дениза. А потеряв, утешаюсь лишь тем, что и я скоро последую вслед. — Он прижался щекой к щеке покойной и лежал так до тех пор, пока Клинецов не коснулся рукой его плеча. — Что? — поднял голову Селлвуд. — Пора?

— Пора, Майкл, — сказал Клинецов.

Вальтер и Ладонщиков внесли носилки с Денизой в камеру. Вышли с пустыми носилками.

— Теперь, вы знаете, где... — сказал им Селлвуд.

— Да, — ответил Вальтер. — Сейчас принесем.

Вальтер и Ладонщиков носили на носилках кирпичи. Селлвуд, Холланд и Клинецов, кладя стенку в четыре кирпича, заделывали вход в погребальную камеру. Когда все было готово, Селлвуд сказал:

— Я хочу побыть один.

— Нельзя, Майкл, — ответил ему Клинецов. — Ты ведь знаешь, что отныне никто не должен остаться один.

— И все-таки! — настоял на своем Селлвуд. — Это мое право. Что бы ни случилось со мной, я хочу остаться один.

— Ладно, — согласился Клинецов.

В нескольких шагах от погребальной камеры охранять Селлвуда остался Вальтер.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда по часам наступило утро, Клинецов вышел из штольни. Вышел в противогазе, в брезентовом плаще с капюшоном, со счетчиком Гейгера в руках. Снаружи было по-прежнему темно. Клинецов включил фонарик, но луч его пробился лишь на метр-два сквозь плотную завесу пыли и дыма, лениво всколыхнувшуюся от движения его руки. И хотя Клинецов дышал через противогаз, в горле у него запершило, и он ощутил запах гари, застоявшийся запах, как на пепелище.

Клинецов, как научил его Холланд, опустил к ногам счетчик Гейгера и включил его. Счетчик захрипел, словно горячий больной, посвистывая и захлебываясь. Клинецов тотчас выключил его, поднял с земли и возвратился к лазу, хваля себя за то, что отошел от лаза недалеко, а то ведь мог и не найти его в этой крошечной тьме.

Вальтер впустил его в штольню. Затем заткнул лаз днищем, обмотанным мешковиной, завалил его кирпичами и засыпал песком. Сказал, довольный своей работой.

— Теперь никакая зараза сюда не проникнет.

Клинецов снял плащ и тоже засыпал его песком. Потом, как и советовал Холланд, поменял верхнюю одежду. Прежнюю вместе с противогазом, оставил в нише, вырытой недалеко от входа.

— Наше счастье, что здесь тепло, — сказал Вальтер.

— Да, — засмеялся Клинецов. — В каждом несчастье можно при желании отыскать какое-нибудь счастье. У русских даже пословица есть: не было бы счастья, так несчастье помогло. А один повешенный, как известно, крикнул: «Я счастлив тем, что меня не повесили вверх ногами!»

— Вот, вот. Моя матушка, когда я был еще совсем маленький и, случалось, обжигал палец, говорила: «А ты дуть умеешь? Вот и радуйся, что дуть умеешь на палец, а то он совсем разболелся бы». И я радостно дул на палец, изо всех сил, забыв о боли. Хорошо, что здесь тепло, есть воздух, вода, пища и многометровый

слой земли над головой. Плохо только то, что мы загнаны сюда страшной бедой. Что показал счетчик? — спросил Вальтер.

— То же, что и прежде, — ответил Клинецов. — По-прежнему тьма, только тучи пыли и гари теперь ползут не по небу, а по земле. Но, следуя твоему принципу, надо, наверное, сказать: хорошо уже то, что есть перемены. Так?

— Так, — улыбнулся Вальтер.

Клинецов никогда не интересовался, сколько лет Вальтеру. Разумеется, знал, что Вальтер моложе его лет на десять, а то и на все пятнадцать. Знал еще, что никакого отношения к археологии он, американец немецкого происхождения, не имеет, что он только хороший механик и радист. Если верить Сенфорду — коммунист. Хотя Сенфорду лучше не верить. Всегда подстрижен под бобрик. Головастый, широкоплечий, среднего роста, с большими сильными руками. Очень голубые глаза, но теперь этого, увы, не видно. И очень белые ровные зубы, которые делают его улыбку роскошной.

Радиопередатчик Вальтеру пока наладить не удалось, хотя он разобрал на запчасти два транзисторных радиоприемника. Клинецов об этом его уже спрашивал. Они успели побеседовать о том, почему оставшиеся радиоприемники трещат на всех диапазонах, и даже о том, где Вальтер научился меткой стрельбе из пистолета — он закончил в свое время военное училище. Молчать, однако, было неудобно и поэтому Клинецов спросил Вальтера о семье.

— Да, меня ждет мама, — ответил Вальтер. — И больше никто. А у вас есть дети? — спросил он Клинецова, должно быть, тоже лишь для того, чтобы поддержать разговор.

— Да, два лоботряса от первой жены. Оба уже взрослые. Раньше из-за денег навещали отца, а теперь у самих появились деньги, теперь им отец не нужен.

— Разве в России возможны такие отношения? — удивился Вальтер.

— Какие?

— Когда главное — деньги?

— Такие отношения, к сожалению, возможны везде, где есть деньги, — ответил Клинецов.

— Значит, там вас ничего не греет, — заключил Вальтер. — Там вас никто оплакивать не будет. А меня ждет мама. Понимаете, мистер Клинецов? Я все время думаю о ней. Это и хорошо, и тяжело одновременно. Понимаете?

— Понимаю. И все же я думаю: это хорошо, это очень хорошо, что мама — там, — сказал Клинецов, думая о Жанне, которая, к несчастью, здесь.

— Многие старые романы заканчивались одной фразой: «Они любили друг друга, жили долго и умерли в один день», — понял Клинецова Вальтер.

— Умерли в один день — это хорошо, — сказал Клинецов, — но ведь до этого жили долго. Жили долго!

— Интересно, сколько мы протянем, — как бы между прочим произнес Вальтер.

Клинецов в ответ пожал плечами. А что он мог сказать? Ответил сам Вальтер:

— Я рассчитал, — сказал он, — что горючего для подзарядки аккумуляторов хватит у нас ровно на две недели. Дальше — тьма и отсутствие воды. Я подумал, что вы должны знать об этом.

— Да, конечно. Спасибо, Вальтер, — поблагодарил Вальтера Клинецов, почувствовав под сердцем уже знакомый холод обреченности. — Приблизительно на столько же нам хватит и воздуха, — добавил он неожиданно для себя. — Но должны ли об этом знать все? У известного русского писателя есть рассказ, в котором смертельно больной человек просит врача сообщить ему, сколько он еще протянет, чтобы рассчитать силы для завершения важных дел. Врач назвал ему этот срок. И что же ты думаешь, Вальтер? Больной принялся тотчас за дела? Нет.

Он повернулся лицом к стене и так пролежал до кончины.

— Это интересный рассказ, — ответил Вальтер. Он возился с аккумуляторами и, отвечая Клинцову, вынужден был оглядываться. — Но мы в иной ситуации: каждый из нас способен сам рассчитать этот срок.

— Но ты все-таки спросил, Вальтер. Значит, не верил в свои расчеты до конца?

— Я думал, что у вас есть надежда. Ведь ожидание без надежды невозможно.

— Люди ждут даже смерти, Вальтер. Само ожидание, само время таит в себе надежду: мир полон случайностей, все может случиться, все может измениться.

— И это вся надежда? — Вальтер встал и подошел к Клинцову. — Что может случиться?! Что может измениться? Я не вижу...

— И я не вижу. Но лицом к стене ложиться не хочу. Один русский ученый, умирая, подробно описывал симптомы умирания. Он таким образом превратил умирание в дело, полагая, что результаты этого дела понадобятся живым.

— Вы сказали: понадобятся живым. Вы думаете, что ТАМ остались живые? Что это не глобальная катастрофа?

— Глобальная?

— Почему бы и нет? Все, кажется, шло к тому, что рано или поздно катастрофа произойдет.

— И все же я не верю.

— Только не верите или не считаете возможным?

— Не верю, Вальтер. Не верю!

Ели снова у алтаря, у жертвенника, который заменил им стол. Омар и Саид сидели вместе со всеми, так как никто в их услугах не нуждался: обед был прост — консервы, хлеб и вода. Светила лампочка. Все видели друг друга. Ели вяло. Больше молчали, чем разговаривали. Иногда Клинцову казалось, что все молчат, потому что прислушиваются, не бродит ли кто-то в темном лабиринте прилегающих коридоров. И сам прислушивался. Тишина была удручающей.

— А ведь что-то было, — заговорил вдруг Сенфорд громко и напористо, будто напомнил вдруг о чем-то очень важном. — Что-то этому предшествовало. Вибрация какая-то, гул. Мне это снилось. Снилось глубокая долина, замкнутая с той стороны, куда я смотрел, высоким плоскогорьем. Склон почти отвесный, как стена. И вдруг оттуда, сверху, посыпались камешки. Сначала мелкие, потом покрупнее. Я побежал. Камни падали рядом, но не задевали меня. А когда я отбежал достаточно далеко, с плоскогорья в долину ринулся огромный поток воды. Долина стала быстро заполняться водой. Я добежал до какого-то высокого здания. Я стал подниматься вверх по лестнице, все время настигаемый водой. И вот я уже на самом верху, на площадке крыши. Дальше мне подниматься некуда. Но и вода уже здесь. Она поднялась выше щиколотки, дошла до колен... И тут все качнулось от подземного удара. Качнулось раз, другой, третий. Я подумал: если сейчас подо мною не рухнет дом, все будет хорошо. Дом не рухнул. Вода, затопившая долину, успокоилась. Спасенный, я стояли смотрел, как вокруг меня расстилается бесконечная, сверкающая под солнцем, водная гладь. Я был один.

— Это последнее дело — рассказывать сны, — сказал Вальтер, дав, однако, Сенфорду возможность рассказать сон до конца. — Если кому охота засорять свои мозги чепухой, пусть запоминает свои сны. Но зачем этой чепухой засорять мозги другим?

— Не в сне дело, а в том, что ему предшествовало, — пылко возразил Сенфорд. — Вибрация, гул... Это когда с плоскогорья полетели камни и ринулся поток воды. Потом землетрясение, когда я стоял на крыше дома. Это уже эхо взрыва, ударная волна, докатившаяся до нас.

— Это я ударил ногой по вашей койке, Сенфорд, чтобы вы перестали храпеть, — засмеялся Вальтер, но его смех никто не поддержал.

— В объяснении Сенфорда есть какая-то истина, — заговорил Селлвуд. Это были его первые слова, произнесенные после похорон Денизы. — Только не знаю, зачем она нам нужна.

— Как — зачем?! — вскочил Сенфорд. — Как это — зачем?! Если была вибрация, колебания почвы — значит, взрыв произошел не так уж далеко. Значит, это локальное явление, здешнее. Значит, это не страны-гиганты обменялись ядерными ударами, а что-то взорвалось здесь! Значит, человечество живо! Вот зачем все это, вот!

— Ваш сон, Сенфорд, плохой источник информации: ведь только сон и только ваш, — сказал Холланд. — Это менее чем недостаточно, это — ничто.

— Мне тоже снилось, — подала голос Жанна. — Я тоже кое-что видела.

— Ну же, ну! — обрадовался Сенфорд. — Что вы видели? Что?

— Будто наш холм раскололся. Что-то ударило снизу, холм вздрогнул и раскололся. Даже не раскололся, а как бы раскрылся, обнажив великолепный зиккурат. Это все, — закончила Жанна.

— Вы слышали?! Тоже удар и тоже снизу! Вероятность реального удара возросла в два раза. Уже не только есть мой сон, мистер Холланд, но и сон Жанны. Кто следующий? Ну, припомните же, припоминайте! — Сенфорд подошел к студентам. — Что вам снилось, молодые люди?

— Нам ничего не снилось, — ответил Ладонщиков.

— Ба! Почему вы отвечаете сразу за двоих?

— Потому, что Коля уже успел сказать мне, что ему, как и мне, ничего в ту ночь не снилось.

— А вам, мистер Клинцов? — спросил Сенфорд. — Вам тоже ничего не снилось?

— Мне снилось стадо слонов, — ответил Клинцов. — Стадо мчалось мимо меня, и все вокруг дрожало.

— Ура! — закричал Сенфорд. — Это победа! Это победа, господа! — он вернулся на свое место у жертвенника и принялся жадно есть.

— Мне понятна ваша радость, — немного погодя, сказал Холланд. — Человечество живо — это обрадовало бы даже мизантропа. Правда, этот вывод не следует из тех посылок, которыми мы располагаем. Вот вам один изъян в вашем силлогизме: близкий к нам взрыв также мог быть результатом обмена ядерными ударами между странами гигантами. Россия могла послать сюда одну ракету, чтобы уничтожить угрожавшую ей базу. Но этому не хочется верить. Верю в то, что человечество живо. И потому что желаю человечеству долгой жизни на земле, и потому что это утешило бы нас... Но, Сенфорд, — продолжал он после паузы, — если взрыв был рядом, то это означает только одно: уничтожена база. Но ведь только с базы, Сенфорд, можно было совершить скачок к нам. Человечество живо, но никто нам не поможет...

— Запрещаю! — сказал Селлвуд. — Запрещаю панические разговоры. Мы должны шадить и поддерживать друг друга.

— Ради чего? — неожиданно для всех спросил Ладонщиков, студент Толя. — Ради чего, мистер Селлвуд?

— Не стыдно? — хотел было остановить его Клинцов. — Как вам не стыдно, Ладонщиков?!

— Не стыдно! И не вам адресован мой вопрос. Я спрашиваю мистера Селлвуда, ради чего мы должны шадить друг друга.

Никогда студент Толя не был так дерзок. Трудно было даже предположить, что он способен на дерзость: большие и сильные физически люди, каким был

Ладонщиков, как правило, покладисты и добродушны. Покладистым и добродушным был все это время и Анатолий. И вдруг — такая неожиданность.

— Так ради чего мы должны шадить друг друга? — повторил свой вопрос Ладонщиков. — Не молчите, мистер Селлвуд.

— Ну, хотя бы ради того, — не сразу ответил Селлвуд, — чтобы не наносить друг другу напрасные душевные раны, не выбивать последнюю опору из-под ног ближнего.

— А истина? Как быть с истиной? Или будем врать друг другу ради обманчивого покоя? Ведь это даже не ложь во спасение, а ложь ради временного покоя, потому что истина вот-вот откроется всем.

— А вам она, конечно, уже открылась? — продолжал злиться Клинецов. — Она уже у вас в кармане?

— Да! — вскочил на ноги Анатолий. — В кармане! Вот! — он вынул руку из кармана, разжал ладонь, и все увидели на ней — не сразу поняв, что это — сломанный дозиметр. — Это дозиметр, которому я свернул голову. Но свернул я ее не по невежеству, как вам об этом сказал Николай, а от ужаса, от страха: я увидел, что волосок на шкале ушел за красную риску — он показывал смертельную дозу.

— Дурак, — тихо проговорил Клинецов. — Боже, какой дурак...

— Не надо было, — потянул Ладонщикова за подол рубахи Кузьмин, студент Коля. — Зачем же ты?

Наступила тяжелая и продолжительная пауза.

— Но я больше не мог, — вдруг навзрыд заплакал Анатолий. — Я больше не мог носить это в себе... Это меня убивало... Выше моих сил... Знать такое одному невыносимо... Что же делать? Что теперь делать?..

Медленно, со вздохом поднялся на ноги Селлвуд. Он подошел к Ладонщикову, положил ему руку на плечо и сказал:

— Глупо доверять какому-то дозиметру, который, возможно, давным-давно был испорчен. Мне известна эта система дозиметров, студент. Она крайне ненадежна. Бросьте ваши игрушки в яму и успокойтесь. Это все, что я могу вам посоветовать.

Анатолий, продолжая всхлипывать, сел. Селлвуд возвратился на прежнее место.

Опять наступило молчание. И чем дольше оно продолжалось, тем труднее становилось затеять общий разговор — это все понимали: болтать о пустяках казалось кощунственным, а заговорить о главном никто не решался. Но и молчание становилось все более тягостным.

— Я расскажу вам одну историю, — услышали, наконец, они спасительный голос Селлвуда. — Она имеет какое-то отношение к нам. Это рассказ фантаста, фамилию которого я забыл.

— И черт с ней, с фамилией! — нашел, как выразить свою радость, Сенфорд. — Черт с ней, мистер Селлвуд! Рассказывайте!

— Да, — продолжал Селлвуд, — так вот. Некая экспедиция, человек десять, высадилась на неизвестной планете. Все шло хорошо, но вдруг умер один из членов экспедиции. Причина смерти, как установил врач, — вирус, против которого в лекарственном арсенале землян не оказалось никаких средств борьбы. Хуже того, вскоре выяснилось, что все члены экспедиции уже заражены этим вирусом. И, стало быть, экспедиция обречена на гибель. Между командиром экспедиции и врачом состоялся тайный разговор. Суть этого разговора была в следующем: врач сказал, что он не может создать препарат против вируса, но что одно средство все же есть. Это средство заключается в том, что все члены экспедиции должны поверить врачу и командиру, что такой препарат все же

создан. Подчеркиваю: поверить.

— Обман? — вставил свое слово Сенфорд.

— Обман ли? Послушайте, однако, что было дальше. Командир собрал всех членов экспедиции, и врач в течение двух или трех часов рассказывал им о вирусе-убийце и о том, как он синтезировал — причем это со всякими выкладками, формулами и так далее — спасительный препарат. А в заключение сказал приблизительно следующее: «Сначала я не знал, как создать такой препарат. Я даже думал, что создать его невозможно. И тогда мы, я и командир, решили надуть вас, сказать вам, что такой препарат создан, заставить вас поверить в это и этой верой победить вирус. Только верой. Ввести же вам я собирался обыкновенную дистиллированную воду. Но теперь необходимость в обмане, который сыграл бы свою чудодейственную роль, отпала. Я создал настоящий, эффективный препарат, который сейчас и введу вам. Он всех нас спасет!» — так закончил свою речь врач. И ввел всем препарат. Все выжили. Даже командир. Погиб только сам врач: он-то точно знал, что никакого препарата он не создал. Вот и все, вся история.

— О-хо-хо, мистер Селлвуд, зря вы все это рассказали. Ведь вы, в сущности, тоже в некотором роде владели чудодейственным препаратом. Теперь же вы выдали тайну. И никакого препарата у вас больше нет, — заявил Сенфорд. — Вы поступили опрометчиво, мистер Селлвуд. Но, с другой стороны, я не верю, будто внушение или самовнушение способно победить вирус. Тем более это не оружие против радиации.

— Пожалуй, — согласился Селлвуд. — Но что-то в этой истории все-таки, думается мне, есть. Не будем создавать новую веру, но и ту, что есть, разрушать не будем. Вот, по-моему, правильный вывод из рассказанной мною истории.

Заговорил Омар. Никто, кроме Глебова, не знал его языка.

— Что он хочет? — спросил Глебова Клинцов.

Глебов выслушал Омара до конца и перевел:

— Он говорит, что надо отвести помещение для туалета, чтоб все знали, где оно, и провести туда свет. Это все. По-моему, очень разумное предложение.

— Счастливый человек, — вздохнул Сенфорд. — Мы думаем, как говорится, о духовном, а он — о туалете! Счастливое неведение, дитя природы.

После убийства Денизы все перенесли свои постели и вещи к алтарю. Глебов назвал их новое жилище палатой, Сенфорд — бункером. Сюда же перенесли запасы продовольствия и емкости с водой.

Селлвуд расположил свою постель слева от входа за контрфорсом. Рядом с ним устроился Глебов — все-таки врач, все-таки ровесник. Следующий контрфорс отгораживал их от убежища Клинцова и Жанны.

Разошлись на послеобеденный отдых.

— Знаете, я плохо себя чувствую, — признался Селлвуд Глебову. — И не потому что горе... Я умею отличать одно от другого. Я физически плохо себя чувствую.

— Я вас посмотрю, — сказал Глебов. — Вы прилягте, и я вас посмотрю. Физическое недомогание может быть следствием стресса. Это же естественно, мистер Селлвуд.

— Почему вы меня не называете Майклом? — спросил Селлвуд.

— Не знаю. Для русских это всегда сложная задача — называть чужого пожилого человека по имени. У нас этим измеряется дистанция. Если по имени, то никакой дистанции. Тогда вы друг, брат. По имени и отчеству — дальше. Только по фамилии — очень далеко.

— Я — далеко? Очень далеко?

— Нет, не очень. Можно бы по имени и отчеству, но у вас это не принято. Вот

какая проблема.

— У русских всегда очень много проблем. Я это знаю. Я слышал: вы идете впереди цивилизованного мира, и для вас каждый шаг вперед — проблема. А мы катимся по старой накатанной дорожке. Так?

— Почти так, — засмеялся Глебов. — Почти так, мистер Селлвуд.

Селлвуд лег. Глебов принес чемоданчик с медицинскими инструментами, сел рядом.

— С чего начнем? — спросил он. — С кровяного давления?

— Опять проблема? — засмеялся Селлвуд. — Хорошо, я вам помогу: начинайте с кровяного давления.

Глебов измерил давление несколько раз, с небольшими перерывами.

— И что? Скачет?

— Да, скачет. А вы откуда знаете?

— Я это чувствую, Владимир Николаевич, — произнес он с трудом имя и отчество Глебова. — Но это еще не все, что я чувствую. Я ощущаю во рту постоянный вкус крови — у меня кровоточат десны. Кровь есть еще кое-где. Меня с некоторых пор постоянно подташнивает. И потом — что это за язвочки на слизистых оболочках?

— Все проверим, все объясним, — сказал Глебов. — А сейчас измерим температуру. Во всем должна быть последовательность, мистер Селлвуд. Это очень важно. Нельзя, например, выпить стакан чаю, не поднеся стакан к губам. Верно?

— Очень тонкое наблюдение, — усмехнулся Селлвуд.

— Нельзя также, например, — продолжал Глебов, — научиться плавать, не входя в реку. А кто попробует вырастить колос, не посадив в землю зерно, тот никогда этого колоса не дожидается. Верно, мистер Селлвуд?

— Очень! Очень верно! Просто невозможно не позавидовать вашей исключительной наблюдательности.

— Иронизируете?

— Конечно.

— И напрасно. Подобный ряд наблюдений может привести к очень важному открытию. Например, к тому, что мы все виноваты в том, что с нами случилось. Все мы виноваты, мистер Селлвуд. И теперь расплачиваемся за эту вину.

— Ох, Владимир Николаевич. Это опять русская проблема: кто виноват? И этот ответ тоже очень русский: все виноваты. Жертвы тоже виноваты. И это ощущение вины дается им как утешение. Гибель — расплата. Не просто гибель по вине преступников, но гибель как расплата за свою вину. В расплате есть смысл. Смысл снимает отчаяние. Так?

— Можно и так, — согласился Глебов. — Но я хотел сказать о другом. Мы мало делали или почти ничего не делали для того, чтобы предотвратить случившееся. Я не знаю, что случилось на самом деле: взрыв базы, случайная катастрофа, обмен ударами — не знаю. Однако все это можно было предотвратить: надо было лишь уничтожить ядерное оружие. Ведь это очень просто: договориться — и уничтожить. И разумно. И благородно. И славой наше вошло бы в потомство. Но мы не договорились...

— Кто не договорился? Мы? Или наши правительства?

— Наши правительства, мистер Селлвуд, таковы, каковы мы сами. Или, как сказал один великий, у каждого народа такое правительство, какого он заслуживает. Уничтожить ядерное оружие — ведь это так просто!

— Вы так думаете, Владимир Николаевич? Я так не думаю. Вот я хотел уничтожить пистолет после того, как кто-то убил Денизу. Но оказалось, что уничтожить его нельзя, потому что рядом по лабиринту бродит кто-то ч у ж о й. Ч

у ж о й — это страх перед другим, в душу которого не заглянешь.

— Ладно, — вздохнул Глебов, вспомнив вдруг о градуснике. — Посмотрим, какая у вас температура. Ого! — произнес он, взглянув на градусник. Кое-что есть, как говорил один мой знакомый. Тридцать восемь и восемь. Это много, мистер Селлвуд. Это много, дорогой Майкл, — впервые назвал Селлвуда по имени Глебов.

— Значит?..

Ничего не значит, — торопливо ответил Глебов. — Будем помнить о последовательности. Только надежно выстроенный ряд может быть основанием для заключения. Последовательно выстроенный ряд симптомов. Итак, покажите ваши десны. И язвочки, конечно, которые, как известно, могут появиться от любого сильного раздражения. — Теперь он говорил, не останавливаясь, не давая Селлвуду слово вставить. Замолчал лишь тогда, когда закончил осмотр.

— И какой же вывод, Владимир Николаевич? — спросил Селлвуд. Надо сделать анализ крови.

— И тогда все будет ясно?

— Ясно? Что ясно? — накинулся на Селлвуда Глебов. — Вы что хотите услышать? Что у вас лучевая болезнь? Так вот я не знаю симптомов лучевой болезни! Я ее никогда не видел! Могу лишь предполагать, опираясь на известную логику. Не более! Лишь предполагать!

— И что же вы предполагаете, Владимир Николаевич?

— Ничего. У вас скачет давление? У кого из нас оно теперь не скачет? Даже у здоровяка Ладонщикова нервы сдали. У вас высокая температура? Она может подняться от любого воспалительного процесса в организме. У вас кровоточат десны? У меня они тоже время от времени кровоточат. О язвочках я уже говорил. Тошнота? Кружится голова? На это тоже есть тысяча причин.

— Но последовательность, Владимир Николаевич, — напомнил Селлвуд.

— Вы могли бы еще и чихать, например. И тогда бы я сказал, что у вас грипп.

— Но ведь я не чихаю.

— Очень жаль. Кстати, — вдруг вспомнил о чем-то Глебов. — А может быть, и некстати... Просто вдруг пришло в голову спросить вас: вы уверены, что дозиметр у студентов был испорчен?

— А вам хочется, чтоб он был исправен?

— Бог с вами, Майкл! И все же, ответьте на мой вопрос.

— Я уже ответил, — сказал Селлвуд.

— В таком случае, и я уже ответил на ваш вопрос, Майкл, — сказал Глебов, поднимаясь с постели Селлвуда. Застегнув свой чемоданчик, он перешел к своей постели и там сел, метрах в пяти от Селлвуда. Селлвуд осветил его фонариком и сказал:

— Вернитесь, я дам вам один совет.

— Полезный? — отозвался Глебов.

— Очень полезный.

Глебов вернулся, склонился над лежащим Селлвудом.

— Давайте ваш совет, — сказал он.

— Присядьте, — попросил Селлвуд. — Уверю вас, я не буду говорить о болезни. Бог с ней, с болезнью. С нею все ясно: либо я одолею ее, либо она одолеет меня. Но и меня и ее одолеет время. И, стало быть, кому нужна моя борьба с болезнью? Была бы Дениза... — вздохнул Селлвуд. — А так — бессмыслица. Время, Владимир Николаевич, омега и альфа всего сущего, повивальная бабка и гробовщик. А мы, археологи, его жрецы. Потому что во всем, что бы мы ни делали, либо наш восторг перед временем, либо ужас. Мы его апостолы. Мы проповедуем его всемогущество. Мне кажется, что и в боге люди

олицетворяют только время.

— Хорошее начало для совета, — сказал Глебов, садясь рядом с Селлвудом. — Я, кажется, даже догадываюсь, что вы мне посоветуете. Вы посоветуете мне во всем положиться на время. Не так ли?

— Не торопитесь, Владимир Николаевич, — Селлвуд похлопал Глебова по руке. — Куда вы торопитесь? Впрочем, я знаю, куда вы торопитесь: осмотрев меня, вы хотите немедленно осмотреть и других. Не делайте этого, не надо. Потому что вы не устоите перед всеми вместе. Вы вынуждены будете дать им ответ. А ответ есть лишь один: лучевая болезнь, против которой у вас нет никакой микстуры.

— Вы обещали не говорить о болезни, Майкл, — напомнил Глебов.

— Правильно! — обрадовался напоминанию Селлвуд. — Черт с ней, с этой болезнью! Не такая уж это важная штука, чтоб о ней думать и говорить. Самая важная штука, Владимир Николаевич, это — время. Напрягите свое воображение и представьте себе хоть на минуту, что здесь было тысячелетия назад, здесь, где мы с вами находимся. Здесь был прекрасный город, кипела жизнь... И не было никакой пустыни, уверяю вас. Там, где теперь унылые барханы, благоухали сады, пели птицы, работали, собирая фрукты, молодые мужчины и молодые женщины. И старики, конечно, — добавил Селлвуд, улыбнувшись. — Всегда были старики. А что творилось на улицах города? Э, Владимир Николаевич, трудно даже вообразить себе, что происходило на улицах: фейерверк лиц, нарядов, шум, гам, смех, толкотня... Мир был молод и весел. Прекрасные дома, дворцы, а в центре города — эта прекрасная башня — зиккурат, чудо и украшение земли, как выразился некогда Варадсин, благочестивый правитель города Ура. Зиккурат состоял из семи башен, поставленных одна на другую.

— Нижняя была черной, а далее следовали белая, пурпурно-красная, синяя, ярко-красная, серебристая и золотая. Так, Майкл?

— Так. Мы находимся в черной, посвященной божествам земли и воды. Верхняя, золотая, была посвящена солнцу. Но однажды, Владимир Николаевич, башня рухнула. Солнце упало на землю и сожгло ее, превратив в безжизненную пустыню, а город — в кучу обломков. Все умерли. Ветер и песок стали властелинами этих просторов. Мертвая пустыня — любимое зрелище времени.

— Мне кажется, что и люди тут постарались, Майкл. Разве не так?

— Так. Люди, обезумевшие перед всемогуществом времени. Разрушается все, созданное тобою, кончается власть, кончается жизнь, кончается мир — чей разум устоит перед этим? Цивилизация накапливает безумие в каждой ячейке своей структуры. Обреченность — интеллектуальное чувство. Чем выше интеллект цивилизации, тем сильнее чувство обреченности. И вот парадокс: безумие порождается разумом.

— Это — не истина, Майкл, — сказал Глебов. — Это лишь образ истины, ее эмоциональное восприятие. Миф. Обезумело не человечество, а лишь часть его. И виной этому не разум. О нет, Майкл! Это заблуждение, будто разум, обращенный в будущее, видит только гибель. Я знаю, что я умру. Временами меня ужасает эта мысль, это знание. Но обреченность, Майкл, не является моим постоянным чувством. Я живу, мыслю, радуюсь, надеюсь и знаю, что я должен умереть, потому что я только волна, несущая энергию через океан жизни. Опора всех наших чувствований в том, что мы умножаем эту энергию. Вот и вся философия. Обреченность, безумие порождаются не знанием об индивидуальной смерти. Это — социальное чувство. Оно принадлежит классу в руках которого богатство, власть и оружие. Награбленное богатство, ускользающая власть и глобальное оружие. Не тактическое, Майкл, не стратегическое, а глобальное. Оружие запугивания и шантажа всего человечества. И вот эта безумная мысль: мы

потянем за собою в могилу всех! Но это уже было, Майкл. Мы, археологи, лучше других знаем об этом. Пустыни — эти трупные пятна земли, созданы не временем, а людьми, утратившими разум от жажды власти и богатства. Они добыли эту власть и это богатство. Но золото и власть извлечены из крови и слез. Страшный суд — не для человечества, а для грабителей и узурпаторов. Он грядет. Иначе не может быть. Приговор вынесен давно. Мы читаем строки этого приговора на черепках пятитысячелетней давности. Но человечество — не палач. Самоубийство — вот удел врага, вот казнь, которая должна свершиться. Но мы уже и этого им не желаем. Мы говорим: образумьтесь и живите. Мы умножаем разум, а не безумие. А вы говорите, Майкл...

— Ах, Владимир Николаевич, — вздохнул Селлвуд. — Ведь вы — обыкновенный марксист.

— А это, конечно, большой порок, не так ли?

— Это взгляд лишь с одной стороны, без ощущения объема, полноты истины.

— Боюсь, что мы поссоримся, Майкл, — сказал Глебов. — Но это будет глупо: потому что не время и не место... Кстати, — вспомнил Глебов, — какой совет вы хотели мне дать?

— Совет? Ах, конечно, конечно. Совет... А совет заключается вот в чем, Владимир Николаевич: правдой и неправдой возбуждайте в людях надежду. Безнадежность — краткий путь к безумию. Я так боюсь, что вы увидите наших друзей обезумевшими. Надежда правдой и неправдой! Вот и все.

— Да, — согласился Глебов. — Но вы уже сказали об этом, Майкл: я не забыл ваш рассказ об экспедиции на неведомую планету.

— Спасибо. Но не пытайтесь создать волшебный препарат, Владимир Николаевич. Мы давно разъедены скепсисом и не поверим вам.

— Препарат создавать не буду: у меня уже есть этот препарат.

Селлвуд горько засмеялся.

Пришел студент Коля и сказал Глебову по-русски:

— У Толика истерика. Он бьется головой о стенку, плачет и все время твердит, что он сказал правду. Не могли бы вы, Владимир Николаевич, дать ему что-нибудь успокаивающее?

— Да, конечно, — ответил Глебов. — Сейчас приду.

Ладонщиков успокоился не сразу, хотя действиям Глебова, сделавшего ему укол аминазина, не сопротивлялся. Только бубнил непрерывно:

— Мне это не поможет. Мне теперь ничего не поможет.

— Поможет, поможет, — терпеливо отвечал ему Глебов. — Непременно поможет. У вас такие прекрасные вены. Шланги, а не вены.

После укола Ладонщиков принялся твердить другое:

— Но я действительно видел. Я отлично видел, что ниточка ушла за красную черту. И дозиметр не был испорчен. Это я потом свернул ему голову. Чтоб никто не узнал.

— А зачем же сказали? Вот и молчали бы, — сказал Глебов.

— Не мог, Владимир Николаевич. Не было больше сил носить в себе такое.

— Вы такой сильный и вдруг: не было сил. Чепуха это, Толя. Надо было терпеть. Тяжела ноша, но перекладывать ее на плечи ближних — поступок совсем не геройский.

— Но ведь все должны знать. Это же касается всех, — не соглашался Ладонщиков. — Все получили смертельную дозу. Ведь это что-то значит? Надо же что-то делать!

— Что делать, Толя? Ведь если то, что вы сказали, правда, то мы уже все мертвы. Что могут делать мертвые люди?

— Мертвые?!

— Разумеется. У мертвых нет надежды.
— Нет надежды?!

— Не повторяйте мои слова, как попугай, Толя. Прав мистер Селлвуд: дозиметр был испорчен. Дозиметр был испорчен!

— Но как он может это утверждать?

— А как вы можете утверждать обратное? А главное — зачем?

— Что значит — зачем? Но это истина!

— Нет, не истина. Дозиметр мог быть испорчен. Вы могли ошибочно определить его показания. Вы, наконец, просто врете, будто знали, что у вас в руках был дозиметр. Вам стыдно признаться, что приняли его за авторучку, хотели снять колпачок и, как верно сказал ваш друг, свернули ему голову. Вы невежда, Толя. Это, конечно, стыдно. И вот вы придумали себе в оправдание версию, будто увидели что-то там, испугались и так далее. Прекрасная версия. Но вы забыли, что она может убить ваших друзей. А это еще хуже, чем показаться невеждой.

Толя застыл, ошарашенный словами Глебова.

— Видал? — толкнул его в бок Коля. — Я же говорил тебе: не бери в голову! Ни черта ты там не видел. Я даже не помню, чтоб ты подносил дозиметр к глазу. Его надо было обязательно приставить к глазу и посмотреть на свет. А просто так там ничего нельзя было разглядеть. Но если ты чего и разглядел, то вот, — Коля почесал в затылке, — я теперь припоминаю... да, да! припоминаю! у дозиметра и раньше эта самая ниточка или проволочка была за красной чертой. Точно! Чтоб мне с этого места не сойти! Была за красной чертой и раньше! Надо всех обрадовать, Владимир Николаевич, всем объявить!

— Валяйте, Коля! — похлопал Кузьмина по плечу Глебов. — Объявляйте!

Кузьмин вышел к жертвеннику и громко объявил:

— Я припомнил, что дозиметр был точно испорчен! Он и раньше был зашкален!

— Вот и ладно, — отозвался Клинцов. — И не шуми больше: некоторые спят.

Жанна не спала. Да и никто, кажется, не спал: Вальтер и Холланд копались в радиопередатчике, Омар и Саид молились, Сенфорд сидел у ямы, надо думать, в надежде, что кто-нибудь придет к нему поболтать.

— Ведь он врёт, — сказал о своем друге Ладонщиков.

— Возможно, — согласился Глебов. — Теперь все наши утверждения зыбки и, в сущности, далеки от истины. Их ценность лишь в том, Толя, насколько они поддерживают наш дух. Ваш друг желает нам добра. Не будем его за это осуждать.

— А ложь? Ведь она сама по себе — зло! Как вы можете так говорить?! — возмутился Ладонщиков.

— Не стану с вами спорить, Толя. Вы будете на сто процентов правы, если мы вырвемся отсюда и будем снова жить среди людей, в обществе. А пока прав ваш друг: мы не можем доводить друг друга до отчаяния даже ради истины. Здесь истина и жизнь несовместимы.

— Но ведь все равно, Владимир Николаевич, — перешел на полусшепот Ладонщиков, — все равно ничего не изменится, если мы станем думать, что не поражены, а на самом деле поражены. Все равно умрем. Но достойно, а не так трусливо, хватаясь за каждое спасительное слово. Выйдем к чертовой матери из этого лабиринта на волю, на воздух, увидим солнце, небо, свет... А то ведь подохнем, как жуки в щелях!

— Там нет ни воздуха, ни солнца, ни неба. Клинцов сказал: черная мгла.

— А если и он врёт?

— Зачем? Зачем ему врать, Толя?

— Ну, скажем, он так понимает наше благо: сидеть в этом погребке. Для вас наше благо представляется покоем. Для него — сидением в погребке.

— А для вас?

— Если правда, что мы уже мертвы, надо уйти отсюда. Может быть, мы еще доберемся до людей и узнаем, что произошло, живы ли все... Как можно умереть, не узнав об этом?! Владимир Николаевич, мы предаем в себе людей! Теперь мы только существа, а не люди, и печемся только о существовании, а не о том, чтобы до конца остаться людьми. Мне противно это!

Глебов позвал Кузьмина, который заговорил уже было с Сенфордом, сказал:

— Побудьте с вашим другом. Скоро он совсем успокоится. А мне пора.

— Удираете, Владимир Николаевич? — укоризненно спросил Глебова Толя. — Не хотите слушать правду? Как же — покой! Он доведет вас до вечного покоя.

— Хватит! — приказал Ладонщикову Кузьмин. — Имей совесть! Тебе сделали укол, а ты никак не угомонишься. Надо уважать труд фармацевтов и терапевтов.

— А! — отмахнулся от него Ладонщиков. — Остряк-самоучка! Укол надо было сделать тебе, чтоб ты меньше врал.

— Толя, — сказал Глебов, уходя. — И вам истина не принадлежит. А то, что вы предлагаете, можно сделать, лишь зная всю истину. Ее нет.

Клинцов лежал рядом с Жанной, заложив руки за голову. Жанна не спала, он это чувствовал, но молчала. Клинцов тоже молчал: с той поры, как они здесь, разговор стал трудным делом.

Нет, не могу! — вдруг сказала Жанна, поворачиваясь к нему лицом. — Совсем не могу. Жить не могу. Это ужасно. Как мы все это вынесем до конца? Не могу представить, Степан. Не могу! Не лучше ли нам найти... Ну, ты понимаешь, о чем я, понимаешь! — стала она трясти Клинцова за плечо. — Только, чтоб без боли. Попроси Глебова, у него должно быть что-нибудь... Или пойдем к этому ч у ж о м у, пусть он стреляет. Сначала я боялась его, а теперь думаю, что этот ч у ж о й — наше избавление от кошмаров. Только бы он не погиб раньше нас. Отними у Вальтера пистолет, запрети ему охотиться за ч у ж и м...

— Что ты такое говоришь, Жанна! — обнял жену Клинцов. — Ты говоришь невозможные вещи. Успокойся. Успокойся, прошу тебя.

— Как? Как это сделать? Научи меня. Научи меня быть твердой. Научи меня быть смелой.

— Хорошо, — вздохнул Клинцов. — Я научу тебя. Это очень просто, Жанна. Чтобы быть твердой и смелой, надо думать не только о себе. Спасение только в этом. И ни в чем другом. Думай о других. И делай для них все, что можешь делать.

— А что я могу, Степа? Что? Что думать и что делать? Ведь никому нельзя помочь ни ценою усилий, ни даже ценою жизни. Что делать, Степа?

— Ну, допустим, я пойду к Глебову и попрошу у него то, что ты сказала. Мы примем это и умрем без боли и раньше других. Каково же будет другим, Жанна?

— Не все ли равно, Степа: ведь мы этого не узнаем.

— Но предположить можем: мы убьем в них последнюю надежду. А если надежда не напрасна?

— Напрасна, Степа, напрасна. Ты сам это знаешь.

— Не знаю. Не можешь думать о ближних, думай о человечестве, о том, как оно выглядит в твоём лице.

— О человечестве? Да есть ли оно, Степа? И не оно ли нас обрекло на эту ужасную смерть? Боже мой, Степа, о чем ты говоришь?! Ты философствуешь, но ведь это безумие. Пойди к Глебову и попроси... Это меня успокоит. Чтобы не разлагаться заживо, чтобы без боли... Только это меня успокоит, Степа. И отними

у Вальтера пистолет.

— Хорошо, — сказал Клинцов. — Я поговорю с Глебовым. Но ч у ж о г о надо убить. Я сам убью его. Спасители, возможно, умрут. Это так. Но ты и все спасенные — вы будете жить. Ради вас я убью ч у ж о г о.

Жанна уткнулась лицом в его плечо и заплакала.

— Ничего-то мы не умеем, — говорила она. — Нет надежды — и нет утешения. Без надежды — все философии только пустые слова. Вот почему был бог: у людей не было надежды...

Земля вдруг вздрогнула, с потолка посыпалась глиняная крошка, запахло пылью. Потом еще и еще: весь холм пронизала вибрация и гул. Где-то в лабиринте произошел обвал, кирпичи падали со странным лязгом и треском.

— Это гроза! — крикнул Холланд. — Это не землетрясение! Это адская гроза, разряды в облаках пыли и пепла! И, кажется, буря!

— Тебе надо что-то делать? — спросила Жанна Клинцова, теснее прижавшись к нему.

— Пока ничего. Потом увидим, что натворит эта гроза. Там электростанция, горячее, колодец...

— Если сильная буря, она может унести ядовитую пыль и дым?

— Куда, Жанна?

— В пустыню, где никого нет.

— Не знаю.

Гроза и буря бушевали несколько часов. В штольне произошел обвал. Потолок обрушился в нескольких шагах от лаза. Под завалом оказался пульт управления электростанцией и помпой.

На расчистку штольни вышли все. Даже Селлвуд, который по-прежнему плохо себя чувствовал, не захотел, несмотря на все увещевания Глебова, остаться в алтарной камере, вышел в штольню вместе со всеми и сидел теперь поодаль от завала, освещая фонарем путь тем, кто носил землю. Землю из завала разбрасывали по штольне, таскали на носилках, в одеялах. У Жанны для этой цели было ведро. Довольно большое ведро. И Селлвуд заметил ей:

— Ведь вам тяжело, миссис Клинцова. Возьмите что-нибудь поменьше, полегче.

— Я признаюсь вам, мистер Селлвуд, — сказала в ответ Жанна, я просто счастлива, что произошел обвал: теперь у всех нас есть работа. А то мне казалось, что я сойду с ума: все были так далеко друг от друга, что уже и не увидеть. Теперь мы снова вместе. Я готова таскать эту землю всю жизнь. И мне совсем не тяжело, мистер Селлвуд.

— Я вас отлично понимаю, — сказал Селлвуд.

Они расчистили выход к лазу за три часа.

— Теперь там снова ночь, — сказал Клинцов. — Но надо осмотреть хотя бы электростанцию и помпу. Запускать их без осмотра рискованно. Поэтому я выйду. Все остальные, кроме Вальтера, могут возвратиться в башню.

В башню никто не ушел: все решили дожидаться возвращения Клинцова у лаза.

Клинцов облачился в наряд, в котором выходил из штольни утром, взял счетчик Гейгера и фонарь и велел Вальтеру откупорить лаз. Жанна хотела подойти к нему, но он остановил ее, сказав:

— Мой костюм опасен. Лучше держаться от меня поодаль. — Ему показалось, что Жанна станет спрашивать его, чтоб он не выходил из штольни.

Бури не было, но ветер продолжал дуть, нес песок, который бил по рукам и по стеклам противогаза. В луче фонаря мчался поток пыли. Небо не просвечивало ни одной звезды. Клинцов включил счетчик Гейгера и, услышав уже знакомый, дерущий по сердцу треск, тотчас выключил его. Электростанция стояла на месте,

только бочки с горючим оказались под сугробом песка. Колодец Клинцов не нашел: барак, который мог служить ориентиром, был разрушен и унесен бурей. Возвращаясь к холму, он пережил несколько минут страха. Ему вдруг показалось, что он заблудился в ночной песчаной круговерти, сбился с дороги и прошел мимо холма. Но испугался он не за себя, не за свою жизнь — испугался он за Жанну, за то отчаяние и ту боль, какие мог ей принести, пропав в черной пустыне. Печать пережитого чувства, должно быть, не сошла еще с его лица, когда он возвратился в штольню и снял противогаз. Жанна, взглянув на него, вдруг резко выпрямилась, сжав кулаки у груди — такой знакомый жест тревоги. Холланд загородил его спиной от других и спросил, не скрывая беспокойства:

— Что там?

— Все по-прежнему, — громко, чтоб слышали все, ответил Клинцов.

Вальтер опробовал электростанцию и помпу. Все было в исправности.

— И нет неба? — спросил Клинцова Ладонщиков, когда они возвращались в башню. — Ни одной звезды?

— Ни одной звезды, — ответил Клинцов.

То, что они увидели, возвратившись к алтарю, привело всех в крайнее замешательство: радиопередатчик оказался не только разбит, растоптан, но и разбросан по всему помещению. Та же участь постигла радиоприемники. Но все остальное было не тронут: ни вода, ни пища, ни аккумуляторы.

— Значит, ч у ж о й, — сказал Вальтер. — Но где логика? Радиосвязь могла бы понадобиться и ему.

— Стало быть, это существо без логики. Злой дух зиккурата. Надо оставлять ему на алтаре воду и пищу. Чтобы задобрить его...

— Помолчите, Сенфорд, — попросил Селлвуд. — Я знаю, что надо сделать. Возвратите мне мой пистолет. Я хорошо изучил этот лабиринт. Я найду ч у ж о г о. У меня еще хватит сил, чтобы расквитаться с ним.

— Отдайте пистолет мистеру Селлвуду, — сказал Вальтеру Клинцов. — Это его право.

— Вы плохо стреляете, — напомнил Селлвуду Вальтер, возвращая ему оружие. — Я сделал бы это лучше, уверяю вас.

— Зато мне нечего терять, — ответил Селлвуд.

Пока Селлвуд проверял пистолет, все молча смотрели на него. Убедившись в том, что с пистолетом все в порядке и в обойме есть патроны, Селлвуд сунул его в карман куртки и сказал, грустно улыбаясь:

— Я счастлив, друзья, что последние мои часы провел с вами. Говорю это на тот случай, если не вернусь. Не протестуйте против этих моих слов: вы и сами прекрасно знаете, что я могу не вернуться. Если потом найдете меня, похороните в камере, которая рядом с той, где лежит Дениза. Вот и все мое завещание. Прощайте, друзья.

— Не отпускайте его! — потребовала Жанна. — Не делайте этого, мистер Селлвуд! Клинцов, отними у него пистолет! А вы, Владимир Николаевич, уложите мистера Селлвуда в постель: он едва стоит на ногах. Он больше всех рисковал ради нас. Неужели мы, неблагодарные, отпустим его на верную смерть?!

— Вы очаровательны, миссис Клинцова, — сказал Селлвуд. — После Денизы мне более всего жаль расставаться с вами. И если, друзья, у вас останется лишь один шанс спасти лишь одного из вас, спасите миссис Клинцову: она так прекрасна. Да, да, Жанна, вы прекрасны. Спасибо вам за добрые слова. — Селлвуд повернулся и быстро зашагал к выходу.

— Да удержите же его! — закричала Жанна. — Что же вы стоите, как истуканы?! Клинцов!

Клинцов, ни слова не говоря, последовал за Селлвудом. Он быстро догнал

Селлвуда и пошел рядом.

— Зачем вы? — спросил укоризненно Селлвуд.

— Ваш пистолет не должен оказаться в руках ч у ж о г о, — ответил Клинецов первое, что пришло ему в голову и показалось убедительным. — Ведь если мы окажемся совсем без оружия, ч у ж о й в течение нескольких минут перестреляет нас. Конечно, — продолжал он развивать эту странную мысль (странную, потому что в основе ее лежало предположение, что Селлвуд погибнет в поединке с ч у ж и м), конечно, мы можем забаррикадировать подходы к алтарю, но успеем ли? И удержат ли ч у ж о г о наши баррикады?

Я об этом не подумал, — остановился Селлвуд. — Конечно, ведь я могу и не убить его. Как же я об этом не подумал?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Ничего мы не знаем: ни как жить, ни как умирать, — сидя у жертвенника, ораторствовал Сенфорд. — всю жизнь бьемся над вопросом «как жить?», а под конец жизни тайно мучаемся мыслью «как умереть?». Суетные, бестолковые, самонадеянные невежды. Бестолково и суетно живем, бестолково и суетно умираем. А ведь великие пророки Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Магомет, — Сенфорд ткнул пальцем в сторону Омара и Саида, когда назвал имя Магомета, — великие пророки, любя нас, ничтожных, учили: уверуйте! Хоть в бога, хоть в черта, хоть в пень, хоть в колоду уверуйте. Соединитесь в чувствах и мыслях с живым и вечным — и будете вечно живы. А мы, обуянные гордыней, понадеялись на свой разум, который довел нас до ручки. Думали, что сами обречем вечное бессмертие, а обрели вечную смерть. Омар, — обратился Сенфорд к старику-повару, — как учил умирать Магомет?

Глебов перевел вопрос Сенфорда.

Омар рассказал: было у пророка Магомета несколько дочерей, но сын был только один. Звали его Ибрагим. Магомет надеялся, что с ним, с Ибрагимом, передаст в потомство имя свое. Но Ибрагим умер, когда ему исполнилось пятнадцать месяцев. И плакал над умершим сыном Магомет. «Сердце мое печально, — говорил он тихо, — и слезы льются из глаз моих, расставаясь с тобой, мой сын! Но горе мое было бы еще тяжелее, если б я не знал, что скоро последую за тобой. Мы все от бога, от него пришли, к нему должны возвратиться».

Тут кто-то спросил пророка: «Разве не ты сам запретил нам плакать о мертвых?»

«Нет, — ответил пророк, — я запретил вам стоны и вопли, бить себя по лицу и рвать одежду: ибо это внушения лукавого. А слезы в горе то же, что бальзам на сердце. Они нам посланы милосердием».

Смерть сына Ибрагима подкосила Магомета, да и годы уже склоняли его к могиле.

Магомет был так слаб, что не мог идти пешком. Тогда друзья его посадили на верблюда. Так, на верблюде, он совершал шествие вокруг Каабы и между священными холмами.

Его последними словами к народу были: «Я только умру прежде вас. Скоро и вы за мною последуете. Смерть ожидает нас всех. А потому никто не старайся отратить ее от меня. Жизнь моя была на ваше добро. Равно и смерть моя».

Он умер дома, положив голову на колени своей любимой жены.

Спросите Омара, — попросил Глебова Ладонщиков, — правда ли, что в раю у них каждому праведнику обещана прекрасная дева.

— Надо ли? — усомнился в правомерности такого вопроса Глебов.

— Я хочу знать! — потребовал Ладонщиков. — Спросите! — в его голосе снова зазвучали истеричные нотки.

— Хорошо, хорошо, — поторопился успокоить Ладонщикова Глебов. Я спрошу. Впрочем, я и сам могу ответить вам на этот вопрос.

— Тогда отвечайте! Не испытывайте мое терпение! — с угрозой произнес Ладонщиков. — Я жду!

— В самом деле, расскажите, — попросила Глебова Жанна. — Я никогда не слышала, что там, в магометанском раю. — Жанна была напряжена, она то и дело оглядывалась на дверной проем, встревоженная долгим отсутствием Клинцева и Селдвуда. Глебов понял, что разговоры отвлекают ее — да и других тоже, — от беспокойных мыслей, и потому принялся рассказывать немедленно:

— Этот рай у мусульман называется джанна. Джанна — в буквальном переводе с арабского означает сад. Это также сады вечности, сады эдема, сады благодати. Почва там из чистой пшеничной муки. Она благоухает и усеяна жемчугом и гиацинтами. Там текут чистые и прозрачные, как кристалл, реки. Есть также реки из молока, меда и вина. Они текут между грядами мускуса, которые окаймлены камфорой и покрыты нежным мхом и шафраном. Там воздух слаще ветра из Сабей, там нет ни жары, ни морозов. Там растет огромное дерево талха. Ветви его раскинулись так широко, что резвый рысак в тени этих ветвей может мчаться во весь опор сто лет. Они увешены сладчайшими плодами и сами гнутся к руке праведника.

Праведники же, друзья, — продолжал Глебов, — живут в небывалой роскоши. Для них там возведены великолепные дворцы, поставлены шелковые беседки. Они облачены в одежды, которые сверкают жемчугами и алмазами... А сами эти одежды — из зеленого сундуса и парчи.

Ложа праведников — мягкие ковры. Каждого праведника обслуживают сто мальчиков. «Когда увидишь их, — написано в Коране, — сочтешь за рассыпанный жемчуг». На золотых блюдах и в золотых стаканах подают мальчики правоверным необыкновенные яства и напитки.

Итак, он беспечен, он сыт и счастлив. — Глебов замолчал и оглянулся: ему показалось, будто кто-то пришел. Но он ошибся.

— И это все? — спросил возмущенно Ладонщиков. — А где же гурии, райские девы?

— Да там же, там же! — ответил Глебов: тон Ладонщикова его стал раздражать. — Райские девы повсюду, они поют сладкозвучными голосами. И шорох древесной листвы создает изумительную гармонию. Более того: на ветвях подвешены тысячи колокольчиков. Дивные звуки, доносящиеся от трона аллаха, раскачивают их, и они позванивают, как жемчуг, падающий в ручей. А теперь специально для вас, — сказал Ладонщикову Глебов, — теперь про гурий, о которых вы так хотите услышать. Гурии — значит черноокие, девы с черными большими глазами. Это чистые девы, Ладонщиков, которых не касался ни человек, ни джинн. Гур-аль-оюн, лучезарные существа, вечно юные, вечно прекрасные. И, что существенно, пусть простит меня Жанна, вечно девственные или постоянно восстанавливающие свою девственность. Они сравнимы красотой лишь с яхонтами и жемчугами. Да и созданы они, если хотите знать, из шафрана, мускуса, амбры и камфоры. Они прозрачны, они благоуханны, они мужелюбивы, они могут рожать вам детей, а могут и не рожать — все зависит от вашего желания. Родившиеся дети, чтобы не досаждают родителям долго, вырастают за один час. Каждому правоверному будут даны семьдесят две гурии, живущие в ослепительно прекрасном дворце, в который можно войти в любой час. А чтобы правоверные не путали своих гурий с чужими, на груди у каждой написано имя ее

супруга. И имя аллаха, чтобы правоверный не забывал, кто сделал ему этот подарок.

— А где же жены правоверных? — спросил Ладонщиков. — Все отправлены в ад, чтобы не путаться под ногами у своих распутных мужей?

— Грешные жены — в аду, а правоверные — в раю со своими мужьями. Они тоже молоды и прекрасны. Всем правоверным, попавшим в джанну, будет навечно определен один и тот же возраст — тридцать три года.

— Все?

— Да, это все, что касается блаженств, обещанных даже самому меньшему из правоверных. Но у кого перед аллахом есть особые заслуги, тому, по словам Магомета, будут предоставлены такие блаженства, каких ухо не слышало, глаз не видал.

Ладонщиков неожиданно заплакал. И все поняли почему: ведь не о том же он плакал, что не попадет в рай, к чернооким гуриям, а о том, что не вернется домой, в маленький городок Халтурин, в старый деревянный дом, пахнущий клеем и краской, где живут его мать и две сестры, Марья и Дарья. А еще он плакал о голубоглазой и конопатой соседке, чей дом стоит рядом с его родительским домом, о девятнадцатилетней Галке, швейнице, с которой не успел нацеловаться. И все мелочи той, уже далекой жизни казались ему теперь дороже яхонтов, жемчугов и алмазов.

Глебов больше не сердился на него. А Жанна пожалела его. Она сказала:

— Успокойся, Толя. Рай — химера. А жизнь ваша будет еще долгой и счастливой. — Она вытерла платком его большое и смешное лицо, на котором все было большим и смешным: крупный нос картошкой, толстые губы и совсем белые, выгоревшие брови. Плача, Толя раздувал щеки и от этого казался еще забавней. Он поцеловал Жанне руку, а потом прижал ее вместе с платком к лицу. Жанна не сразу отняла ее, другой рукой провела по его взъерошенным, тоже выгоревшим на солнце волосам и сказала:

— Вы не имеете права плакать: это всех нас делает слабыми и растерянными. А нам надо быть сильными и собранными.

— Миссис Клинцева права, — поддержал ее Холланд. — Нельзя распускать нюни. Считайте, что мы солдаты и что смерть для нас — привычное и даже обыденное дело. Ведь все русские — хорошие солдаты. Так говорят.

Ладонщиков отпустил руку Жанны. Жанна оставила ему платок и сказала, ни к кому не обращаясь:

— Ну где же Клинцов? Где Селлвуд? Почему Они не возвращаются? Я пойду за ними.

— Нет! — решительно остановил ее Холланд. И все поняли, что на время отсутствия Селлвуда и Клинцева Холланд взял на себя бремя власти.

— Но, мистер Холланд...

— Нет! — повторил он. — Селлвуд и Клинцов — мужчины. Я надеюсь, что они приняли правильное решение. И то, что мы все здесь, — ими учтено.

— А ведь ни в чем нет смысла, — сказал Сенфорд. — Ни в том, что мы делаем, ни в том, что мы не делаем. Все лишено смысла. Нас привели к жертвеннику, и мы стоим у ямы, куда будет сброшен наш пепел. Перед этой ямой, господа, все бессмысленно!

Сенфорд! — сурово проговорил Холланд, — еще одно такое высказывание — и я заткну вам рот кляпом.

По какому праву? — закричал взбешенно Сенфорд. — Вы — кто? Генерал? Маршал? Он говорит: мы солдаты! Мы — никто! Ничего нет, что объединяло бы нас. Есть только то, что нас разъединило, — смерть!

— Сенфорд! Я вас предупредил!

— Плевать мне на ваше предупреждение! Вы тут толкуете: рай, ад, Христос, Магомет. Все это бред исчезнувшей цивилизации. Ничего нет! Есть я и эта яма! Вот все, что я могу еще принять в расчет!

— И что же вы предлагаете, Сенфорд? — спросил Холланд.

— Оставить друг друга в покое: не командовать, не судить, не советовать ни от имени бога, ни от имени человечества. Нет никаких инстанций, господ. Ни высших, ни низших. Все наши взаимные обязательства исчезли. Теперь каждый из нас вправе сам избирать себе принцип поведения: можно молчать, погружаясь в ледяной холод ужаса; можно болтать, как я, заглушая в себе страх; можно кинуться вниз головой в эту яму на острые камни; можно уйти в пустыню и сгореть в невидимых лучах; можно остаться с теми, кто, обманываясь ложными надеждами, обрекает себя на мучительную медленную смерть. Выбор, конечно, мал. Но и рабами чужой воли быть довольно! Мы, наконец, свободны, господа!

— В таком случае мы свободны, Сенфорд, не слушать вашей болтовни, — сказал Холланд. — Хотя не противоречило бы объявленной вами свободе и то, если бы я заткнул вам рот: теша себя, по вашему выражению, ложными надеждами, я не хочу, чтоб их разрушал какой-то спятивший паникер. Это о вас, Сенфорд! Да, да! Это о вас!

— Я хочу поддержать мистера Сенфорда, — вдруг заявил Ладонщиков. — Он прав. Дайте мне немного пищи и воды — и я уйду. Пища и вода мне нужны не для того... Просто я хочу дойти до края темноты. А тут я взбешусь. Боюсь убить кого-нибудь. Да, руки так и чешутся...

— Вот вам плоды ваших разглагольствований, Сенфорд, — сказал Холланд. — Но вы-то избрали для себя самый безопасный путь к смерти, простите невольный каламбур: вы будете только болтать, подавляя в себе страх, — и это все. А там, глядишь, все обойдется: полученная вами доза облучения окажется на самом деле, как мы и утверждаем, безопасной для вашей драгоценной жизни, обнаружится, что катастрофа локальна, нас найдут и вам уже не нужно будет больше болтать, подавляя в себе страхи, потому что все страхи окажутся позади. Найдите в себе мужество, Сенфорд, и изберите для себя другой путь: бросьтесь, скажем, в яму на камни, отправьтесь со студентом в пустыню. Или, наконец, замолчите и избавьте наши нервы от не нужной трепки. Вот и Магомет, оказывается, говорил, что надо любить, почитать и поддерживать друг друга. Но вы, наверное, плюете и на Магомета?

— Конечно!

И вы разрешите мне сообщить об этом Омару и Саиду? Сенфорд нервно хмыкнул.

— Но ведь они зарежут меня, — сказал он.

— Разумеется, зарежут. Я же лишь требую прекратить болтовню. Выбирайте. Селлвуд прислонился спиной к стене, вытер ладонью испарину со лба.

— Давайте погасим фонарики, — предложил он Клинцову. — Будем экономить батарейки.

Они погасили фонарики.

— Я, действительно, мог оставить вас без оружия, — продолжал Селлвуд. — И тогда ч у ж о й стал бы вашим властелином. Этот убийца.

— Поэтому, — предложил Клинцов, — либо вы вернетесь, Майкл, либо я пойду с вами.

— Ты пойдешь со мной, — сказал Селлвуд и спросил: — Кстати, Степан, почему ты стал обращаться ко мне на «вы»?

— Да? — удивился Клинцов. — Я не заметил. Хотя, постой, постой: это же ты, Майкл, первый спросил меня, когда я догнал тебя здесь: «Зачем вы?» Или тебе показалось, что я не один?

— Не один? Возможно. Не помню. О себе же я думаю, что я теперь действительно не один. С той поры, как безногая рядом — вот такое у меня чувство. Я подумал было, что и ты воспринимаешь меня таким образом... Нет?

— Нет, Майкл. А почему — рядом? Ты о чем, Майкл?

— О чем? — Селлвуд замолчал, подыскивая нужные слова: ему не хотелось, чтобы Клинецов подумал, будто он, Селлвуд, напуган. Он пережил уже этот момент — момент страха, который накатил на него, когда он понял, что его шансы на жизнь равны нулю. Это произошло еще до того, как состоялся разговор с Глебовым, у склепа Денизы. Там он впервые подумал, что они поторопились замуровать склеп, что скоро и ему — туда. Болезнь в себе он ощутил вдруг, каждой клеткой, как зуд, как звон, как пульсирующее оцепенение, как прохождение, продавливание через мельчайшую упругую сеть. Он дробился. И обезумевший на мгновение мозг не мог собрать все это в ощущение, в слово. Его неотвратимо потянуло туда, и он чуть не закричал от страха. Впрочем, крик уже был, но еще внутренний крик. Он уже раздирал его, он рвался наружу. И не вырвался: мысль о том, что Дениза испугается этого крика, заставила Селлвуда схватить себя за горло и остановиться. Потом он плакал и думал, что так и надо, так — хорошо; он останется с Денизой.

— Ты почему молчишь, Майкл? — спросил Клинецов.

— Не знаю, как сказать, — признался Селлвуд. — Точнее, не хочется говорить. Но мы одни. Другой такой случай может не представиться. Если я промолчу, ты чего-то не поймешь. Хотя должен все понять. И поэтому я должен тебе сказать. Не ахти что, разумеется, но все же... Видишь ли, один философ — я пытался вспомнить его имя и не вспомнил, — так вот этот философ сказал: все знают всё. То есть все люди вместе знают всё, что можно знать. Если извлечь знания из мозга всех людей, то это будет вся наука, вся история, все надежды, все желания. Но каждый из нас знает не все — это закон. Это естественно, так устроен мир. Тот факт, что кто-то знает больше, а кто-то меньше — также не подлежит никакому осуждению. Но тот, кто знает больше — естественно лидер. И вот я, наконец, добрался до главной мысли: ты должен остаться лидером и поэтому должен знать больше, чем каждый из членов нашей экспедиции и даже больше, чем все они. По этой причине к твоим знаниям я хочу присоединить мои.

— Зачем же так длинно, Майкл? Я и так выслушал бы тебя с охотой, — сказал Клинецов.

— Не думаю. То, что я скажу, невозможно выслушать с охотой. Речь, в сущности, вот о чем: у меня острая лучевая болезнь, как определили мы, я и Глебов. Это не подлежит никакому сомнению. А из этого вытекает следующее: либо все получили достаточно высокую дозу облучения, либо только те, кто дольше других находились снаружи, либо я один, потому что работал без противогаза и надышался радиоактивной пылью. Теперь рассмотрим все в обратном порядке. Я получил изрядную дозу вне всякого сомнения. Со мной все ясно. Далее: если дозиметр наших студентов зашкалило, то наверняка изрядную дозу получили и те, что работали с нами снаружи. И ты, значит. Теперь о тех, кого мы сразу отправили в штольню. Они, если судить по времени, не успели набрать смертельную дозу. Правда, доза была больше критической — ведь дозиметр зашкалило. Но насколько больше? Этого мы не знаем. Надеюсь, ты понимаешь, что верить мне и студенту Кузьмину, будто дозиметр был неисправен, не стоит. И вот реальная ситуация: половина экспедиции обречена, у другой, кажется, есть шанс на выживание. Но мы, по-моему, были готовы к этому в самом начале, когда разделились на две группы.

— Да, Майкл, — сказал Клинецов. — Это так.

— Старики и молодые, — продолжал Селлвуд. — Старикам — умирать,

молодым — жить. Мы взяли этот закон природы и сделали его принципом разделения. Это и закон нашей цивилизации: отцы заботятся о безопасности детей. Мы обязаны соблюдать его и дальше. Я хотел сказать: до конца. К сожалению, тут есть трудности: молодые продолжают облучаться. Отчасти потому, что в штольню вместе с воздухом проникла радиоактивная пыль еще до того, как мы завалили штольню. В какой-то степени заражены продукты, главным образом крупы и макароны. В меньшей степени — баночные консервы. Но главная опасность — вода.

— Вода? Неужели, Майкл? Как ты это установил? — спросил Клинецов.

— Я попросил Холланда. Его вывод: та вода, которой мы заполнили всевозможные емкости в первый день, — значительно меньше радиоактивна, чем та, которую теперь подает помпа.

— Да, задача! — сказал Клинецов и осветил фонариком на пол, просто так, без надобности. Увидел в отраженном свете лицо Селлвуда: черные пятна вместо глаз, черный рот, блестящий в испарине нос. И выключил фонарик.

Селлвуд отстранился от стены, ища что-то в карманах.

— Платок ищу, — объяснил он Клинецову. — Чертовски душно. К тому же у меня жар, все горит.

— Дать воды? — спросил Клинецов. — У меня во фляге есть вода.

— Спасибо, — поблагодарил Клинецова Селлвуд. — У меня тоже есть вода. — Он вытер лицо платком, облегченно вздохнул. — Так вот — о воде: надо сделать так, чтобы наша молодежь пила воду из баков, а мы — из скважины. Поручить эту заботу следует Омару: пусть только он наполняет фляги якобы в целях гигиены. Далее: под любым предлогом мы, старики, должны отказываться от консервов. Пусть они достанутся молодым, а мы обойдемся макаронами и крупами. И еще: держать молодых подальше от завала и уж, конечно, из штольни не выпускать, что бы там ни случилось. Ты слушаешь меня?

— Да, Майкл.

— Ты все это сделаешь?

— Сделаю.

— Если почувствуешь себя плохо, передашь власть Холланду. Если не Холланду, то Глебову. Если не Глебову, то Вальтеру. Никогда — Сенфорду и студентам.

— Хорошо, — согласился Клинецов. — Ты говоришь так, будто прощаешься со мной.

— Конечно, прощаюсь, — ответил Селлвуд. — Ты правильно понял меня, Степан. Но еще несколько слов, чтоб закончить все это. Вальтер, я думаю, все-таки сумеет собрать из того, что осталось, простейший радиопередатчик и послать в эфир сообщение о том, что мы существуем. Это — важно, потому что в этом — обретение надежды. И последнее: я должен убить ч у ж о г о. Вот, — Селлвуд коснулся рукой груди Клинецова. — Теперь ты знаешь все.

— О ч у ж о м, — сказал Клинецов. — Кто он, по-твоему?

— Убийца, — ответил Селлвуд. — Поэтому просьба: ты, безоружный, будешь идти в десяти шагах следом за мной с выключенным фонариком. И никаких героических поступков, пока я жив. Так?

— Так, — согласился Клинецов.

Селлвуд, включив фонарик, двинулся вперед. Отсчитав десять шагов, велел Клинецову идти за ним. Клинецов, таким образом, шел в полной темноте. Для страховки время от времени касался руками стен. Останавливался, когда останавливался Селлвуд. Остановившись, оба напряженно вслушивались в тишину: не раздастся ли впереди шорох, не пошлышится ли чье-либо дыхание. Так они шли долго, медленно петляя по лабиринту. Иногда, чаще на прямых участках,

Селлвуд выключал свой фонарь, и тогда они оба, стараясь ступать как можно тише, двигались в темноте. Через несколько минут они оказались в тупике, у склепа Денизы. Клинец не сразу это понял. Лишь когда Селлвуд со стоном присел перед грудой кирпича, преградившей ему дорогу — Клинец подумал, что Селлвуду стало вдруг плохо и бросился к нему на помощь, — лишь тогда Клинец увидел, что находится по другую сторону кирпичного завала. Спальный мешок был расстегнут, и лицо Денизы открыто.

— Какой ужас, — тихо проговорил Клинец, подняв на ноги Селлвуда.

— Да, — ответил Селлвуд и попросил Клинцова застегнуть мешок.

Потом они заложили кирпичами вход в склеп. Селлвуд долго отдыхал, а точнее, пытался побороть в себе отчаяние, которое овладело им при виде надругательства, учиненного над могилой Денизы. Он сидел на полу, лицом к стене, запиравшей вход в склеп, уронив голову на грудь. Клинец молчал, стоял рядом. Фонарик можно было бы выключить, но что-то мешало Клинцову сделать это: то ли детский страх перед могилой, то ли боязнь за Селлвуда, которому в темноте могло стать еще хуже.

— А у студента Толика клаустрофобия, — вдруг сказал Селлвуд.

— Что? — не понял Клинец. То есть он, конечно, понял, что речь идет о студенте Ладонщикове, он знал даже, что такое клаустрофобия — боязнь замкнутого пространства, он не мог лишь согласиться с тем, что здесь, у могилы Денизы, после всего случившегося возможен этот разговор. Клинец даже подумал было, не ослышался ли он, не почудилась ли ему эта фраза о клаустрофобии Толика. — Ты что-то сказал, Майкл? — повторил он с опаской свой вопрос.

— Да, — ответил Селлвуд, поднимаясь с пола. — У студента Толика — клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Я это давно заметил: он не хотел работать в штольне. Поэтому он так настойчиво требовал, чтобы ему и его другу разрешили вести открытые раскопки на холме. Я не хотел тебе об этом говорить, жалел студента. У одного моего друга была такая же болезнь: он не мог войти в пирамиду, когда мы работали в Египте. Он вынужден был в конце концов бросить археологию. У студента на этой почве истерика. Он будет рваться наружу. Хочу, чтобы ты учел это.

— Ах, Майкл, — вздохнул Клинец. Пока Селлвуд говорил, он успел переварить в себе непонимание, разобраться в своих чувствах. Теперь он понимал Майкла Селлвуда, жалел его и восторгался им: едва переборов свое горе, он уже думал о товарищах. А может, тем и переборол горе, что постоянно думал о них. — Ах, Майкл. Разумеется, я все учту. Но как помочь тебе, Майкл?

— Останься живым, — ответил Селлвуд.

Они снова отправились на поиски ч у ж о г о. Шли в том же порядке, как и прежде: Селлвуд с включенным фонарем впереди, Клинец в десяти шагах за его спиной. Но уже через минуту-другую Клинец сократил эту дистанцию: он подумал, что, если ч у ж о й выстрелит первым и ранит или убьет Селлвуда, он не успеет пробежать десяти шагов до того, как Селлвуд упадет и выронит пистолет, что пистолет ему понадобится немедленно после первого выстрела ч у ж о г о, иначе второй выстрел также будет принадлежать ч у ж о м у...

— Здесь отвлечение, — предупредил Клинцова Селлвуд и остановился. Клинец подошел к нему почти вплотную, на расстояние вытянутой руки. — Если он также охотится за нами, — тихо продолжал Селлвуд, — то оттуда, из бокового коридора, стрелять всего удобнее. Этот, по которому мы идем, кончается тупиком. Тот смыкается с новым лабиринтом. Дальше пойдем без света, прижимаясь к стене. У бокового проема остановимся. Затем ты прыжком преодолешь его и уже оттуда, с другой стороны проема, осветишь его, выставив

руку с фонарем из-за угла. Сам не высовывайся. Я выгляну из-за этого угла и, если там кто-то окажется, выстрелю. Возьми фонарь в левую руку. Все понял?

— Все.

— Тогда, Степа... Как это ты там говоришь? Ага, вспомнил: айда. Тогда — айда, Степа.

Предосторожности оказались напрасными: боковой коридор был пуст.

— Жаль, — сказал Селлвуд. — Я так хорошо продумал операцию. Окажись чужой здесь, он не ушел бы от нас.

— Да, Майкл. Ты все хорошо продумал. Куда теперь? Дойдем до тупика или сразу перейдем в другой лабиринт?

Они дошли до тупика и вернулись к боковому коридору.

— Послушай, Майкл, что я подумал, — сказал Клинецов, когда они углубились в боковой коридор, — а если чужой идет следом за нами? Почему мы решили, что он впереди?

— Да, черт возьми! — согласился Селлвуд. — Может быть, и так. Но что из этого следует?

— Из этого следует, что мы все-таки должны идти рядом.

— Пожалуй. Пойдем рядом.

Лабиринт привел их в зал, посреди которого лежала огромная куча облупившегося с потолка кирпича.

— Ого! — воскликнул Селлвуд. — Новость! Так вот, оказывается, где произошел обвал во время грозы. Хорошо трянуло!

Клинецов направил луч фонаря на потолок. То, что они увидели, поразило их обоих: в потолке зияла огромная дыра.

— Майкл! — ахнул Клинецов. — Да ведь это проход в белую башню!

— Да, да, — вздохнул Селлвуд. — Только вряд ли мы туда попадем: у нас нет ни лестниц, ни веревок. А сама судьба открыла нам вход в белую башню. Какой подарок, черт возьми! Неужели мы не примем этот щедрый подарок?

— Что можно сделать: сложить лестницу из кирпичей. Если этих, — Клинецов указал лучом на кучу, — не хватит, мы разрушим часть стены.

— Ничего нельзя разрушать, — сказал Селлвуд. — Это первый закон археолога.

— Ну, Майкл! — засмеялся Клинецов. — Конечно же, нельзя. Но как мы тогда попадем в белую башню?

— А зачем нам белая башня? Что мы там забыли?

— Тебе не хочется туда заглянуть? — удивился Клинецов. — Но ведь ты сам только что радовался подарку судьбы...

— Я и теперь радуюсь. Только там, думаю, ничего нет. Такие же пустые и темные лабиринты. Все далекое прошлое, в сущности, лишь пустые и темные лабиринты. Человечество вышло из них и устремилось к свету, к радости, к счастливой многолюдной толчее — к будущему. А кто-то взял и погубил будущее... Зачем теперь нам прошлое?

— По-моему, Майкл, мы пришли к единому мнению, что катастрофа локальна. Или ты думаешь иначе? Но зачем тогда все твои наставления, советы?

Селлвуд не ответил. Он заговорил о другом. О трагедии цивилизации.

— Благо есть мера, гармония. Надо собирать человека. Не раскапывать, а лепить. Не разлагать, а синтезировать. Спасение — в гармонии духа и тела. Эпоха анализа слишком затянулась. Человечеству пора вступать в эпоху синтеза. Мы все еще рабы Рима, мы самозабвенно повторяем вслед за ним его губительный принцип: разделяй и властвуй. А нужен другой: соедини и блаженствуй. Соедини разумное, доброе, прекрасное. Нужны не люди, не племена, не классы, не государства, не народы, не расы — требуется человечество.

— Майкл, — осторожно остановил Селлвуда Клинцов. — Мы забыли о ч у ж о м.

— Спасибо, — произнес кто-то за спиной. — Мне было интересно послушать. Но это были запоздалые мысли.

Клинцов и Селлвуд оглянулись. Их ослепила короткая вспышка света, раздался выстрел. Селлвуд повалился на Клинцова. Пистолет, выроненный Селлвудом, ударил Клинцова по ноге. Клинцов опустил Селлвуда на землю, нашарил рукой пистолет. Он ждал второго выстрела, но второго выстрела не было. Тогда он включил фонарь и осветил вход, через который они вошли сюда и откуда стрелял ч у ж о й. Там никого не было.

— Ты жив, Майкл? — Клинцов посветил на лежащего у его ног Селлвуда. Селлвуд не ответил. На губах его пенилась кровь.

Страха не было. Было оцепенение, оупление, как от сильной усталости. Он не знал, что делать, потому что об этом не думалось: в мыслях было пусто и сонно.

Кнопка включения на его фонарике была с пружинкой. Фонарик светил, пока Клинцов нажимал на кнопку пальцем. Но стоило лишь убрать с нее палец или хотя бы ослабить нажатие, как фонарик выключался. Именно так случилось тогда, когда Клинцов оглянулся на голос ч у ж о г о; палец инстинктивно отпустил кнопку, и фонарик погас. Иначе он увидел бы его, хотя не смог бы выстрелить, потому что пистолет был у Селлвуда. Но надо было хотя бы увидеть — кто это, что это, в каком облике, в человеческом ли? Если в человеческом, то почему?..

Это была его первая мысль, когда он очнулся от оупления, сидящим в темноте рядом с убитым Селлвудом. Включил фонарик. Селлвуд лежал неподвижно, в прежней позе, на боку, одна рука была неловко подвернута. Клинцов повернул его на спину, высвободил из-под тела подвернутую руку, расстегнул на его груди куртку. Рубаха во всю грудь была пропитана кровью. Клинцов ощутил ее запах — запах ржавчины и сырой воды, знакомый ему с детских лет: в маленьком белорусском селе, откуда он родом, в сорок втором году фашисты расстреляли партизана и бросили его в воронку из-под разорвавшегося снаряда, на дне которой стояла вода; вместе с мальчишками он бегал смотреть на убитого — вода в воронке была ржавой и странно пахла...

— Что же мне делать с тобой, Майкл? — спросил Клинцов, как будто Селлвуд мог ответить ему. — Какая ужасная судьба...

Последние слова Клинцова касались не только Селлвуда, они были и о нем самом.

Он принес тело Селлвуда и положил на пол у алтаря.

Все молча обступили его, ждали, что он скажет. Хотя каждый, наверное, догадывался, что произошло в лабиринте.

— Мы не убили ч у ж о г о, — сказал Клинцов то, что должен был сказать. — Ч у ж о й убил Майкла. Мы похороним его рядом с Денизой.

Селлвуда, как и Денизу, завернули в простыни, вложили в спальный мешок и отнесли на носилках в тупик, в склеп Денизы.

Когда вернулись с похорон, не досчитались Толика. Первым его отсутствие заметил Кузьмин.

— Сначала я думал, что он где-то здесь, и не беспокоился, — сообщил Клинцову Кузьмин. — Потом решил, что он ушел по нужде. Но оказалось, что его нигде нет.

Все всполошились, стали искать и звать Толика. Клинцов и Вальтер бросились к выходу из штольни. Подтвердилось самое худшее: Ладонщиков открыл лаз и ушел из штольни.

— Я пойду за ним, — сказал Клинцов, облачаясь в свой «выходной наряд», как он окрестил брезентовый плащ с капюшоном и противогаз. — И притащу

этого губошлепа! После урагана на песке должны быть только его следы. — Он отдал Вальтеру пистолет и добавил: — Заткните лаз и сразу же вернитесь в башню. Никому не позволяйте отлучаться. Держите под наблюдением вход в помещение. И ждите меня... столько, сколько сочтете разумным. Все!

Дул ветер, шуршала песчаная поземка. Включив фонарь, собственных следов он уже не нашел — их замело. Но зато еще хорошо были видны следы, оставленные Ладонщиковым. Они огибали электростанцию — из чего Клинцов заключил, что Ладонщиков ушел с фонарем — и далее уходили к северу.

Свой расчет Клинцов построил на том, что Ладонщиков, покинув штольню, не побежал, а пошел шагом, экономя силы для длительного пути, и что быстро идти ему мешают темнота и барханы. Клинцов же, обойдя электростанцию, отладив луч сильного фонаря, который вручил ему Вальтер, помчался по следам Ладонщикова со всех ног. Правда, через несколько минут бега он стал задыхаться — мешал противогаз и сказывалась усталость. Он падал, скатывался с барханов, временами терял следы Ладонщикова, но, к счастью, быстро находил их снова и снова бежал.

Стоит ли Ладонщиков этих его усилий или не стоит — так вопрос не стоял. Он думал лишь о том, догонит он Ладонщикова или нет. И если не догонит, то когда, в какой момент он решит, что догнать Ладонщикова нельзя? Через час? Через два? Когда иссякнут силы? Как он объяснит тогда свое возвращение в башню? И что станет тогда с несчастным Ладонщиковым? И не лучше ли вообще не возвращаться? Ему — может быть, и лучше. А другим? А Жанне? И как он возвратится, если песок занесет его следы? А он непременно заметет его следы, может быть, через час или два, и тогда ни на земле, ни на небе не будет ориентиров — ни следа, ни звезды...

Он свалился с края бархана и скатился вниз по его крутому склону, пропахав борозду в песке рядом с бороздой, оставленной Ладонщиковым. Более всего берег фонарь, зная, что без него пропадет. И руки-ноги, конечно, берег, но пуще их — фонарь. И вдруг стал бояться, как бы с ним чего не случилось: как бы не перегорела лампочка, как бы не села батарея. Ведь все это могло произойти в любой момент. Вспомнил о ветре, о том, что он дует ему в спину. И, значит, когда он будет возвращаться к холму, ветер будет дуть ему в лицо, если не переменит направление. Ладонщиков идет на север лишь потому, что ветер дует с юга.

Он поднялся на следующий бархан и потерял следы Ладонщикова. Бросился вправо-влево — следов не было.

— Ладонщиков! — закричал Клинцов, сдернув с лица противогаз. — Ладонщиков, черт бы тебя побрал! Ты где? — замахал он фонарем над головой. — Ты где?

Ветер унес его слова, оставив без ответа.

Это было такое блаженство — дышать без противогаса, что был момент, когда Клинцов решил больше никогда не надевать противогаз. Дышать и дышать, а потом будь что будет, хоть разорвись грудь, хоть сгори, но перед этим — дышать. Блаженство это было сродни тому, как если бы броситься после испепеляющей жары в чистую речную воду, которая прохладно пахнет травой и цветущими кувшинками.

Мысль о смерти не остановила бы его. Остановила мысль о жизни Ладонщикова — губошлепа, истерика, лентяя и профана, неуклюжего ловеласа, который так раздражал его своими дурацкими ухаживаниями за Жанной... И, конечно, мысль о Жанне: увидеть бы, как кончится для нее этот кошмар и умереть, зная, что она спасена — любимая, прекрасная, нежная... «Хватит! — сказал себе Клинцов, надевая противогаз. — И довольно!»

Он спустился с бархана к тому месту, откуда начал подниматься на него.

Отличить собственные следы от следов Ладонщикова не представляло особенного труда: собственные были не так заметны. Он сразу же понял, как произошла ошибка, поведшая его на бархан: Ладонщиков прошел с десятков метров по склону вверх и вернулся, отчего следы его стали частыми. Затем Ладонщиков почему-то топтался на одном месте, после чего изменил направление — его следы потянулись вдоль гряды барханов, по самой ложбине, соскальзывая всякий раз к ней, как только забирали вправо или влево на склон.

«У него отказал фонарь, — догадался Клинецов. — Он не стал пересекать барханы, боясь сорваться в темноте с крутого обрыва».

Клинецов снова перешел на бег, уже уверенный в том, что с минуты на минуту настигнет беглеца.

Он увидел его тоже бегущим. «Удирает, болван! — мысленно выругался Клинецов. — И удерет ведь: его ходули не сравнишь с моими!» Он сорвал с себя на бегу противогаз и закричал:

— Толик! Голубчик! Остановись! Это я — Клинецов!

Ладонщиков метался в луче фонаря, как заяц в луче автомобильных фар. Едва это сравнение пришло в голову Клинецову, он снова крикнул:

— Остановись, дурак! Иначе буду стрелять!

Трудно сказать, что подействовало на Ладонщикова: то ли «голубчик», то ли «буду стрелять», то ли то, что он узнал голос Клинецова, но только он вдруг остановился, обернулся, заслонился руками от света и плюхнулся на песок.

Клинецов, неожиданно теряя силы, добрал до Ладонщикова, упал с ним рядом и протянул ему свой противогаз.

— Надень, — сказал он Ладонщикову, тяжело и хрипло дыша. Ладонщиков взял противогаз, но не надел, спросил:

— Зачем вы пошли за мной?

— Не пошел, а побежал, — ответил Клинецов. — Затем, чтоб спасти тебя, дурака. Надень противогаз! — проговорил он зло.

— А вы? — все еще медлил Ладонщиков. — А как же вы?

— Делай, что тебе говорят! Дома объяснимся. — Дома — это где? В башне?

— В башне.

— Но там убивают, Степан Степанович. Я не могу туда вернуться.

— Надень противогаз! — рявкнул на Ладонщикова Клинецов. — И перестань хныкать.

Ладонщиков поспешно надел противогаз.

— Вот так-то лучше, — уже спокойно сказал Клинецов. — Надо идти, Толик. Жанна Викентьевна, — соврал Клинецов, — очень просила тебя вернуться. — Впрочем, не так уж и соврал: Жанна, как и все, была очень обеспокоена бегством Толика.

Когда они вернулись, был второй час ночи, но никто в башне не спал: все ждали их возвращения. Или невозвращения — могло случиться и так. Но они вернулись, и все были искренне рады этому. Только Жанна поглядывала на Клинецова искоса. Он знал почему: потому что он отправился в погоню за Толиком, не предупредив ее об этом, не простившись с ней...

На ночь установили дежурство. Первым на дежурство заступил Холланд — Вальтер передал ему пистолет.

На ночлег расположились вдоль стен, примыкающих к входу, за контрфорсами — так, чтобы со стороны входа, не войдя в помещение, ни в кого нельзя было попасть. Холланд же расположился за жертвенником против входа. Стоило ему лишь заподозрить неладное и включить мощный фонарь, поставленный на жертвенник, как в луче света оказывался не только вход, но и коридор на глубину в пятнадцать-двадцать метров. Стрелять он мог с упора, сидя

за камнем, находясь практически в полной безопасности, особенно, если учесть при этом еще и то, что ч у ж о й будет ослеплен.

Жанна хотела поговорить с Клинцовым, но он сказал, что для разговоров у него уже нет сил. Сон сморил его в одну минуту. И когда он проснулся, ему показалось, что проспал не ночь, а лишь одно мгновение.

Он не встал, а вскочил, как будто в нем отщелкнулась пружина.

— Ты что? — возмутилась и даже словно испугалась Жанна.

— Все в порядке? — спросил Клинцов.

Все было в порядке. Над жертвенником горел огонь, Омар и Саид готовили завтрак, у входа, прислонившись к стене, стоял Кузьмин — пришла его очередь дежурить, Вальтер при свете своего фонаря копался в разбитом радиопередатчике, Глебов и Холланд брились у одного зеркала, заглядывая в него попеременно. Ладонщиков читал книгу, которая, как помнилось Клинцову, принадлежала Владимиру Николаевичу — это были письма Сенеки к Луцилию («Ad Lucilium epistulacum moralium») на латинском языке. Сенфорд сидел у ямы.

Клинцов обошел всех именно в таком порядке, здороваясь с каждым за руку, спрашивая о самочувствии. Никто не жаловался.

Омар и Саид делали бутерброды — каждому по два, намазывая один вареньем, другой — паштетом. Клинцов вспомнил о последних наставлениях Селлвуда и решил, что поговорит с Омаром позже, точнее, поручит сделать это Глебову, предварительно объяснив ему суть задачи. Вальтер сказал, что передатчик он, пожалуй, соберет, но что для этого ему понадобится еще время.

— Ночь прошла спокойно? — спросил Клинцов у Холланда.

— Абсолютно спокойно, — ответил Холланд. — Никто не появлялся.

— Как наш Толик? — этот вопрос Клинцов задал Глебову.

— Сделал ему еще один укол. Теперь, как видите, читает Сенеку. Но в латыни очень слаб. Черт знает, чему их учат в университете!

— Не выпускайте его из поля зрения, — попросил Глебова Клинцов.

Ладонщиков неохотно оторвался от чтения, когда Клинцов присел рядом с ним и спросил, во что он так усердно вникает.

— Стойки, кажется, не боялись смерти, — ответил Ладонщиков. — Вот я и стараюсь понять, почему не боялись.

— А ты боишься?

— Боюсь, — признался Ладонщиков. — А вы, Степан Степанович?

— Смерть — вещь обидная. Одни прожили совсем мало, а она уже пришла. Другие прожили много, много видели, много знают, их ум — кладезь мудрости, добытой великим трудом, страданиями, нужной всем, но вот пришла смерть — и всему конец, все разрушено, уничтожено. Жестоко, бессмысленно, неразумно.

Теперь о нашем положении, Толик. Все мы — узники убийцы. Чем бы ни была вызвана катастрофа — она дело его рук. Убийца загнал нас в эту черную башню. Наша задача — выжить и выйти, чтобы вынести ему приговор. Но убийца есть и здесь, в лабиринте. Его мы тоже не знаем и потому называем ч у ж и м. Ч у ж о й — это то, во что может превратиться каждый из нас, предавшись страху смерти. Страх смерти — это и чрезмерная любовь к собственной жизни, которая в любой момент может перешагнуть через жизни других людей. Это обезумевшее от любви к себе Я.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сенфорд стоял возле ямы и время от времени бросал в нее зажженные спички.

— Что за странное развлечение, мистер Сенфорд? — спросил его Клинцов.

— Эксперимент, — ответил коротко Сенфорд.

— И каковы же его результаты?

— А вы без иронии, мистер Клинцов, без иронии... Результаты этого эксперимента могут быть потрясающими. Если мои предположения подтвердятся, мы сможем позволить себе открытый огонь и, стало быть, горячую пищу. Вот посмотрите, — Сенфорд зажег спичку и бросил ее в яму. — Очень удачный вариант — спичка легла мостиком на щель между камнями. Обратите внимание на ее пламя: оно довольно яркое и устремлено вверх. Это говорит лишь об одном: из ямы идет поток воздуха, богатого кислородом. Откуда ему взяться, мистер Клинцов?

— А вы как думаете? — схитрил Клинцов, зная, что у Сенфорда уже есть версия или даже версии ответа. И не ошибся.

— Либо, — с торжественностью ответил Сенфорд, — своим основанием яма уходит в пористый песчаник, сквозь который, как сквозь фильтр, к нам проникает атмосферный воздух. Либо, — он сделал паузу, видя, что его слушают уже и другие, — либо к яме подведены подземные коммуникации. Стоит лишь вынуть камни из ямы и мы узнаем, какой из этих ответов правильный.

— Либо ваш эксперимент вообще ни о чем не говорит, — сказал Сенфорду Клинцов. — Спичка горит — это верно, и пламя ее направлено вверх. Но точно так же все происходит и здесь, — в подтверждение своим словам Клинцов взял у Сенфорда спичечный коробок, зажег спичку и показал ее всем. Вальтер расхохотался. Сенфорд плюнул и удалился в свой угол. Но ненадолго, потому что Омар пригласил всех к завтраку. Кузьмин завтракал, оставаясь на посту у входа.

— В тот момент, когда был убит Селлвуд, мы находились в третьем ритуальном зале — под этим номером он значится на нашей схеме, — заговорил, ни к кому не обращаясь, Клинцов за завтраком. — Там рухнул потолок. Во время недавней грозы, наверное. Образовалась большая дыра. Эта дыра, как мне показалось, ведет в симметричный зал, находящийся в верхней, белой башне. Факт этот для нас чрезвычайно важен: у нас увеличилось количество воздуха...

— Ага! — вскрикнул Сенфорд, но на него зашикали, и он затих.

— Кроме того, — продолжал Клинцов, — это чертовски интересно для нашей науки: обследовать белую башню. — Клинцов увидел, как загорелись глаза у Глебова, как беспокойно задвигались губы у Холланда — явный признак вспыхнувшего в нем интереса, как захлопала ресницами Жанна, как она прикусила нижнюю губу, уже, кажется, готовая бежать со своим фотоаппаратом к новому «объекту». Даже Толик перестал жевать, услышав о белой башне. Только Сенфорд отреагировал отрицательно:

— Кому теперь нужна ваша наука?! — воскликнул он, как бы досадуя на крайнюю глупость всех окружающих. — О чем вы толкуете?!

Клинцов не придавал значения словам Сенфорда и спокойно продолжал:

— Но есть две проблемы, которые надо обсудить. Проблема первая — лестница. Чтобы попасть в белую башню, надо построить лестницу из кирпича. Это труд, и труд немалый, тем более, что придется разобрать часть стены, чтобы добыть таким образом кирпич. Рабочих, как вы знаете, у нас нет, и если мы решимся строить лестницу, то будем, очевидно, строить ее своими руками. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в следующем: на нашем пути к белой башне стоит ч у ж о й. Он будет охотиться за теми, кто отправится в третий зал, или за теми, кто останется здесь. Все варианты одинаково опасны. Безопасен только один: всем оставаться здесь и к белой башне не ходить.

— Или убить, наконец, ч у ж о г о, — подсказал Вальтер.

— Да, или убить, наконец, ч у ж о г о, — согласился Клинцов. — Кто пойдет со мной?

— Нет! — скорее непроизвольно, чем осмысленно вырвалось у Жанны.

— Кто пойдет со мной? — повторил свой вопрос Клинцов.

— Я, — с готовностью отозвался Вальтер. — Этот ч у ж о й мне до чертиков надоел.

— Нет, Вальтер, нет. Тебе нельзя, — сказал Клинцов. — Ты не собрал радиопередатчик и не передал в эфир наш сигнал. Сделать это настолько важно для всех нас, что мы не можем рисковать тобой, Вальтер. В охоте же на ч у ж о г о есть риск, вы это знаете.

— Тогда возьмите меня, — сказал Холланд.

— Нет. Вы останетесь вместо меня, — был ответ Клинцова.

— Тогда — я, — предложил себя Глебов.

— Нельзя рисковать жизнью единственного врача.

— Я пойду! — крикнул от входа Кузьмин. — Я — никто, никому не нужен. Словом, самая подходящая кандидатура. Берете, Степан Степанович?

— Беру, — ответил, оглянувшись, Клинцов.

— Но это противоречит вашему принципу, — сказал Сенфорд. — Насколько я понимаю, теперь он должен быть сформулирован так: все спасенные должны быть спасены. Студент Кузьмин — из числа спасенных.

— Вы слышали? — спросил у Кузьмина Клинцов. — Мистер Сенфорд прав: в бой идут одни старики. — Впервые, кажется, Клинцов был благодарен Сенфорду за напоминание: он, действительно, едва не нарушил принцип, установленный им и Селлвудом. — Со мной пойдет Холланд, — объявил Клинцов. — Есть возражения?

— Есть, — сказал Сенфорд. — Вы уйдете с пистолетом и оставите всех нас без всякой защиты. А если ч у ж о й придет сюда, когда вас не будет? Он перещелкает всех нас, как цыплят. Я предлагаю отказаться от всяких мыслей о белой башне. Нам достаточно и черной башни. Я понимаю, что следовало бы отомстить за смерть мистера Селлвуда и Денизы...

— И за смерть Ахмада, — напомнил Глебов.

— Да, и за смерть Ахмада. Но эта месть может стоить нам нескольких жизней, — продолжал Сенфорд. — А каждая наша жизнь теперь бесценна, потому что мы, возможно, новый Ноев ковчег. Но если речь идет не о мести, а только о белой башне, то и вовсе не стоит рисковать: на кой черт нам белая башня?! Ожидание! Вы сами — и это правильно! — провозгласили нашу стратегию и тактику: ожидание!

— Я хочу поддержать Сенфорда, — сказала Жанна. — Мне очень хочется попасть в белую башню, но цена входного билета в эту башню слишком велика. Я считаю, что прошедшая ночь — образец нашего поведения: все находятся здесь под охраной одного из наших доблестных мужчин и ничем не рискуют. Думаю, что власть Клинцова мы должны ограничить нашей общей волей.

— Проголосуйте, — потребовал Клинцов.

Все проголосовали за предложение Жанны.

— Есть еще одно предложение, — поднял руку Глебов. — Его вносит Омар. Он предлагает каждое утро выставлять пищу и воду для ч у ж о г о в один из коридоров лабиринта. Омар считает, что так мы обезопасим себя от вторжения ч у ж о г о в нашу обитель. И, конечно, задобрим его, если он не зверь. Сам Омар считает, что ч у ж о й — это аш-шайтан, дьявол, что убить его нельзя, потому что его казнь отложена до Страшного суда.

— А то, что день Страшного суда уже наступил, ваш Омар, конечно, не считает? — спросил Сенфорд.

— Не считает, — ответил Глебов. — Так что ответить нашему уважаемому Омару? — спросил он. — Будем ли мы выставлять в коридор пищу для аш-

шайтана?

— Надо выставить отравленную пищу, — предложил Кузьмин, на что Глебов сразу же ответил:

— Если кто-то думает, что у меня есть яд, то он глубоко заблуждается.

— Вы бы не так сильно орали, когда говорите глупости, — заметила Кузьмину Жанна.

— Не хочешь ли ты этим сказать, что мы будем выставять пищу для ч у ж о г о? — спросил ее Клинцов.

— А почему бы и нет, — ответила с вызовом Жанна. — Если это повышает наш шанс на выживание, мы обязаны им воспользоваться.

— Но не до такой же степени самоунижения: ч у ж о й убил наших товарищей, он загнал нас в эту келью, он будет жрать нашу пищу — и мы все это будем терпеть ради выживания? Я сам убью ч у ж о г о, — заявил решительно Клинцов. — Я пойду на него с ножом или с чем-нибудь другим, чем можно убить...

— Перестань, — попросила Жанна. — Ведь он подслушивает. Я уверена, что он нас подслушивает.

— В таком случае нам нужно, по-твоему, еще и замолчать?

— Не ссорьтесь, — сказал Клинцову и Жанне Глебов. — Вы подаете дурной пример нашей молодежи. Так что же ответить Омару? Он ждет.

Холланд предложил не выставять пищу для ч у ж о г о, а, напротив, лишить доступа к пище, что в конце концов заставит его пойти на пули. Его поддержали Вальтер и Кузьмин.

— Я же считаю, что с ч у ж и м надо вступить в переговоры, — сказал Сенфорд. — Мне почему-то кажется, что он знает о катастрофе нечто такое, чего мы с вами не знаем. Заключим с ним перемирие, если у нас есть шанс выйти отсюда живыми, и, конечно же, поделимся с ним пищей. Перемирие — не унижение, а лишь временное прекращение войны. Сообщаю это для успокоения совести слишком тонких и чувствительных натур, — бросил он камешек в огород Клинцова. — Ставлю мое предложение на голосование.

— Подождите, — остановил Сенфорда Клинцов. — Есть одно обстоятельство, которое вы все не учли и которое разрушает все ваши благие намерения. Дело в том, что мы не можем находиться здесь безвылазно: снаружи — электростанция и водяная помпа, у самого входа из штольни — пульт управления электростанцией и помпой, там же кончается шланг, по которому поступает к нам вода. Все это, как вы понимаете, требует, чтобы мы передвигались по штольне и даже выходили наружу: для заправки станции горючим и устранения возможных неполадок. Для исследования внешней обстановки мы также вынуждены выходить из штольни. Словом, как я и сказал, мы не можем находиться здесь безвылазно. Это первое, что вы, надеюсь, уже усвоили. Второе: все эти передвижения связаны с риском нападения ч у ж о г о. Мы никак не можем заблокировать его. Он будет угрожать либо вышедшим в штольню, либо оставшимся здесь. Причем, преимущество — на его стороне, всегда на его стороне, даже в том случае, если он будет нападать на вооруженную часть нашей группы, потому что он — охотник, а мы — жертва. И вот вывод, друзья: охотниками должны стать мы. Это все, что мы можем. Таким образом, дело не в мести, дело не в белой башне, хотя и это не стоит сбрасывать со счетов. Дело в том, что мы не можем обеспечить свою безопасность, не убив ч у ж о г о. Возможно, что он убьет еще кого-то из нас, но не всех.

— Потрясающий выбор! — сказал Сенфорд. — Или выживание накануне ядерной смерти, или смерть прежде ядерной смерти. Что лучше, господа? Но это — философская реминисценция... Я по-прежнему настаиваю на переговорах с

аш-шайтаном, как называет ч у ж о г о наш досточтимый повар Омар. Переговоры и только переговоры! Вот мое требование.

— На переговоры отправитесь, конечно же, вы? — спросил Клинцов.

Сенфорд не ожидал такого вопроса и растерялся.

— Надо обсудить, — замялся он, — у нас демократия... вернее, ограниченная тирания...

— Я пойду, — заявил молчавший все это время Ладончиков. — Я провинился перед всеми вами, хочу искупить, как говорится, вину, и поэтому пойду...

— На переговоры с ч у ж и м должна пойти женщина, — отомстил Клинцову Сенфорд. — Даже звери проявляют благородство по отношению к особам другого пола. Аш-шайтан не посмеет обидеть женщину. Тем более такую красивую женщину, как миссис Клинцова.

— Заткнись, Мэттью! — сказал Сенфорду Холланд. — Иначе я проломлю твою дурную башку!

— Вот! — ткнул пальцем в сторону Холланда Сенфорд. — Еще один бандит! Вы должны знать, что он участвовал во вьетнамской кампании, ему ничего не стоит проломить голову человеку только за то, что человек этот думает иначе, чем он.

— Предлагаю поставить вопрос на голосование, — не придавал значения словам Сенфорда Холланд: все давно знали о его участии во вьетнамской кампании с его собственных слов. — Итак, поступило два предложения, — продолжал он. — Первое: послать на переговоры с ч у ж и м мистера Сенфорда, второе: миссис Клинцову.

— Это было лишь третье предложение, — напомнил Вальтер. — Вторым предложил себя студент Толя. Надо голосовать именно в таком порядке.

— Вальтер прав...

— Не надо голосовать, не надо! — замахал руками Сенфорд. — И без голосования ясно, что на переговоры вы пошлете меня. Я пойду добровольно и, таким образом, сниму камень с вашей души. Следует лишь коллективно обдумать, что я предложу проклятому аш-шайтану.

— Скорее, надо обдумать, что этот аш-шайтан потребует от нас взамен на мир, и до какой степени мы можем уступить ему, — сказал Глебов и напомнил всем о том, что Омар ждет решения: выставлять пищу для аш-шайтана или не выставлять. — Он говорит, что мы слишком долго болтаем, а между тем аш-шайтану тоже хочется есть.

— Если мы проголосуем за переговоры с ч у ж и м, то можно проголосовать и за выставление для него пищи, — ответил Клинцов. — То, что мистер Сенфорд добровольно согласился отправиться на переговоры с ч у ж и м, вовсе не означает, что мы согласились на переговоры.

Клинцов от голосования воздержался. Все остальные проголосовали за переговоры с ч у ж и м. Сенфорд подтвердил свое решение встретиться с ч у ж и м.

— Боюсь, что таким образом вы подписали себе смертный приговор, мистер Сенфорд, — сказал Клинцов. — Поскольку я не голосовал за переговоры, то и в обсуждении вашего предполагаемого договора участвовать не стану. К тому же мне пора на вылазку. Прощайте, господа.

— Я пойду с тобой! — заявила Жанна.

— Нет! Ты останешься здесь, вместе со всеми, под охраной Кузьмина, — напирая на каждое слово, ответил Клинцов. — И вообще, прекрати вмешиваться в мои решения! Ты для меня — как все, не более! Занимайтесь обсуждением договора.

— Я с вами? — спросил Вальтер.

— Нет необходимости. Один или два — все равно без оружия. Два даже хуже: больше мишень.

Жанна отвернулась. На щеке, которая была видна Клинцову, блеснула слеза.

Клинцов встал и направился к выходу. Он чувствовал, что все смотрят ему вслед, но не оглянулся. Лишь сказал Кузьмину, когда проходил мимо него:

— Крепче держи пистолет, Коля.

Он обиделся на всех. Особенно на Жанну. Конечно, она опасается за его жизнь, боится, что он погибнет в поединке с ч у ж и м, но что оказалось в результате? — Он — один, без оружия, а ч у ж о й бродит рядом. Впрочем, дело, конечно же, не в этом. А в том, что она отрицает разумность его доводов, не поддерживает его предложения, соглашается с Сенфордом, и все это лишь ради того, чтобы спасти его, Клинцова, а между тем потакает неразумности и трусости Сенфорда и иже с ним. Они, конечно, образуются, но чего это будет стоить? Как возвращается к людям потерянное мужество?

Он вышел из башни в штольню и, погасив фонарик, остановился, вслушиваясь в тишину. Ничего не ожидал услышать и не хотел, потому что всякий шум, всякий шорох мог означать только одно: то, что рядом бродит ч у ж о й. Стоял довольно долго и после того, как убедился, что в штольне мертвая тишина — абсолютное отсутствие кого-либо. Думал о чаше, которая не минет его, думал без молитвы, потому что ни в бога, ни в черта не верил, не верил и в воскресение. Есть короткая жизнь и вечная смерть, вечная разлука с образом человеческим. Он, Клинцов, перестанет быть человеком, потеряет образ человеческий. Хотя кто такой он, в сущности? Что болит, что страдает, что не хочет в нем умирать? Какая субстанция? Какая идея? Если вечна душа, то зачем ей, вечной, тревожиться? Стало быть, не вечная. Мышца умирает — это боль. Глаз умирает — это тьма. Мозг умирает — это беспмятство. Нерв умирает — это бесчувствие. Что же страшит? Неужели отсутствие? Отсутствие во всем, что происходит. Дана была воля, способность к действию и познанию — к улучшению мира, почти божественная способность, вернее, более, чем божественная, и вот — ты отсутствуешь во всем. У тебя был идеал мира, его истины и твой опыт — неповторимое соединение, осознанное как Я. Добытое страданиями, потому что и действие, и познание, и сама жизнь — страдание, то горькое, то сладкое, но неизбежное. Добытые истины и опять — суть память. А идеал — извлеченная, рожденная из памяти надежда. И вот: «оставь надежду всяк сюда входящий...» Смерть — это утрата надежды. Не надейся увидеть когда-либо дорогих тебе людей, не надейся прикоснуться к любимой, услышать шелест листвы, окунуться в прохладу реки, уловить аромат цветущего луга... И не то страшно, что тебя не будет в мире, а то страшно, что мира не будет в тебе. Что-то останется, конечно: молекулы праха, атомы. Но чем для них будет мир? Гравитацией, химической массой, электромагнитным воздействием — неким силовым влиянием, элементарным, жалким. А человеку он открыт во всем своем величии и блеске, в сути и форме, в пространстве и времени, во всех мыслимых и немыслимых измерениях, в высшей своей гармонии. И вот это — исчезнет. А еще большая утрата — исчезновение мира людей... Исчезновение и вечное отсутствие. Небытие. Не стать и не быть. Так что страдает, что страшится, что болит в тебе? Весь мир.

Он, Клинцов, уже, в сущности, за чертой. Смерть уже поселилась в нем и делает свое черное дело. Кто-то рассказывал ему, будто в индивидуальном пакете солдат современных армий есть шприц, уже заполненный препаратом, который может избавить солдата от шока в случае смертельного радиоактивного поражения. Благодаря этому уже по существу убитый солдат будет участвовать в бою, выполнять свое боевое задание — мертвые пойдут в атаку через зону

ядерного взрыва, сами отомстят врагу за свою смерть. Так и он, Клинцов, уже мертв, но еще стоит на ногах, еще мыслит и борется. Инерция жизни еще заставляет клетки его тела функционировать, хотя все они уже поражены, убиты, сожжены и вот-вот обратятся в пепел. Минувшей ночью он явственно ощутил в себе эту странную вибрацию, тихий стон миллиардов клеточек, согласно живших в его организме пятьдесят два года. И сон ему виделся ужасный, будто он, Клинцов, растекается по кирпичному полу, как снежная баба в теплый мартовский день.

Силы оставляют его, кажется, не по дням, а по часам. Вчерашняя погоня за Ладонщиковым завершила, пожалуй, то, что началось в злополучный, так и не наступивший день. Утром, когда он проснулся, его рот был полон крови. А резь в животе становится все невыносимей. Он с трудом выдержал недавний разговор у жертвенника: были мгновения, когда он едва находил в себе силы, чтобы не застонать от боли и горечи; сознание же, как идущий на посадку самолет, то и дело ныряло в туман, он делал большие паузы, если говорил, и молчал, когда надо было вступать в разговор. Но даже Жанна, кажется, не заметила этого. Да он и старался, чтобы никто не заметил. Надо бы спросить у Глебова, подумалось Клинцову, нет ли у него солдатского шприца, а то худо...

Мысли Клинцова то и дело возвращались к Жанне. Да нет же, какая там обида, какая теперь может быть обида? Если ты уже на другом берегу и никогда не переплывешь реку обратно, какая может быть обида на тех, кто остался там? Все прощается, когда со всем прощаешься. Он любит ее и оставляет. Вот обида! Да не на нее же, не на Жанну, а на судьбу. На проклятую судьбу! Вот самое страшное — расстаться с любимой... Клинцов застонал от этой муки, жестокой и безысходной. Не жизни жаль, а этой любви, этой женщины. Жизнь, черт бы ее побрал, может все-таки повториться — есть такой шанс в бесконечности времен, где вероятность повторения не равна нулю. Никому этот шанс не нужен и нет в нем утешения. Но он существует. И может реализоваться — ты возникнешь вновь, ничего не помня о себе. А мог бы вспомнить, если бы повторилась эта любовь этой женщины. Но она-то и не повторится...

Клинцов дошел до лаза и включил освещение штольни — душная и пыльная нора. Нора в далекое и безмолвное прошлое, в лабиринт теней. Теперь — путь для бегства... Думалось, что люди прорвутся в светлое будущее, а они отброшены в далекое прошлое... Там — вырождение, впереди же открывалось безграничное совершенствование. Кто прошел один и тот же путь дважды, тот просто вернулся...

Клинцов откопал лаз и вынул задвижку. Снаружи по-прежнему было темно, хотя по времени уже наступил день. Вставив задвижку обратно, Клинцов переделался в свой «выходной наряд», достал из ниши счетчик Гейгера. Выползть наружу ему пришлось ногами вперед, так как некому было закрыть за ним лаз — он сам заткнул лаз обернутым в мешковину дном бочки, втащив его за собой.

Ветер утих, и пыль улеглась. Было непривычно холодно. Небо не клубилось, не ходило пятнами. И словно даже чуть-чуть просвечивало, особенно у края, у восточного горизонта. Дав привыкнуть глазам, Клинцов сумел разглядеть контур холма. Это была новость, которой стоило как можно скорей поделиться с друзьями, но Клинцову надо было еще задержаться, чтобы проверить наличие радиоактивности. Счетчик Гейгера по-прежнему бесился — свистел и рычал: ни гроза, ни пронесшийся вслед за ней ураган не изменили ситуацию. Золотой холм, таким образом, оказался в зоне стойкого радиоактивного поражения. Надежды на то, что это положение вскоре изменится, не было.

Клинцов долил горючего в бак двигателя электростанции, затем направился к скважине, светя себе под ноги, идя вдоль предполагаемой канавы, в которую был

уложен шланг водопровода. Слова Селлвуда о том, что помпа подает из скважины воду повышенной радиоактивности, навела его на мысль, что шланг где-то прорвался и что сквозь этот прорыв в него попадает песок. Так это и оказалось: он вскоре нашел воронку, размытую водой во время последнего включения помпы. Клинец раскопал шланг и увидел в нем трещину. Обмотал поврежденный участок изоляционной лентой, которую предусмотрительно прихватил с собой, снова зарыл шланг в песок. Дошел до скважины, оттуда — до места, где стояли домики, русский и американский. Домиков не было, лишь несколько кольев торчали из песка на том месте, где они прежде стояли.

— Все к чертям унесло, — проговорил вслух Клинец, думая при этом не только о домиках, но и обо всей своей жизни.

В штольне у лаза его поджидал Вальтер.

— Зачем вы здесь? Вы рисковали, — сказал ему Клинец.

— У меня тоже есть обязанности, — ответил Вальтер.

Клинец не стал спорить. Сбросил с себя «выходной наряд» и попросил Вальтера включить помпу. Дождался, когда пошла холодная вода, из глубины скважины, обмылся — не ради себя старался, а ради окружающих: не хотел тащить на себе в башню радиоактивную пыль.

— Что там? — спросил Вальтер, когда Клинец оделся.

Клинец сказал про горячее, про разрыв шланга и про то, что небо стало немного светлее.

— А радиация?

Клинец в ответ только рукой махнул.

— А что у вас? — спросил он в свою очередь. — Далеко ли продвинулись в составлении проекта договора?

— Думаю, что на это уйдет еще не один день: Сенфорд очень вдохновился, — ответил Вальтер. Он включил станцию и поставил на подзарядку аккумуляторы.

Я поторчу здесь, — сказал Вальтеру Клинец. — Что-то мне не хочется выслушивать речи Сенфорда... А вы считаете, Вальтер, что с ч у ж и м действительно можно договориться?

— Хорошо бы договориться, — ответил Вальтер.

— Ну, ну. Но я не стал бы. Нельзя вступать в договор с убийцей. Впрочем, об этом я уже говорил...

— Новая жертва вас устроит больше?

— Не заводитесь, Вальтер, — сказал Клинец. — Просто я думаю, что новая жертва неизбежна. И если вы пошлете Сенфорда, жертвой станет Сенфорд. Поэтому на встречу с ч у ж и м пойду все таки я. И не для того, чтобы вести с ним переговоры, а для того, чтобы убить его. Я могу с вами говорить по-мужски, откровенно, всецело полагаясь на то, что этот разговор останется между нами?

— Да, мистер Клинец.

— Так вот слушайте: я долго не протяну, не выживу ни при каких обстоятельствах, потому что получил слишком большую дозу. Так было с Селлвудом, так теперь обстоят дела со мной. Идя на встречу с ч у ж и м, я рискую лишь тем, что проживу на два-три дня меньше, тогда как всякий другой рисковал бы целой жизнью. Я чувствую, что уже на пределе сил. Дальше — беспмятство и распад. Вы слушаете меня?

— Да, я слушаю, — не поднимая головы, ответил Вальтер.

— Одна беда, — продолжал Клинец, — я плохо стреляю из пистолета, хотя стрелять приходилось на военных сборах. К тому же у нас только один пистолет, который ни при каких обстоятельствах не должен оказаться в руках ч у ж и м. Короче: мне бы какое-нибудь другое оружие, гранату, например. Разве вы не сможете с Холландом создать какую-нибудь гранату? Взрывчатка есть в конуре

— ее занесли туда, когда у Селлвуда появилось желание взорвать стену башни. Там несколько толовых шашек. Нужен лишь удобный взрыватель. Поговорите с Холландом, Вальтер. Сделайте такое одолжение. А с гранатами я обращаться умею — еще в детстве научился... Загону тогда этого ч у ж о г о в тупик и разнесу на куски. Очень хочется.

— Хорошо, я потолкую с Холландом, — пообещал Вальтер. — Но лишь после того, как с ч у ж и м встретится Сенфорд, если эта встреча окажется бесполезной, неудачной.

— Вы так ненавидите Сенфорда? — усмехнулся Клинцов.

— А вы так кровожадны, мистер Клинцов, что вам непременно надо разнести ч у ж о г о на куски?

— Значит, не договорились, — сказал Клинцов. — Считайте, что никакого разговора у меня с вами не было. Прощайте.

Клинцов взял наполненное свежей водой ведро и направился в башню.

Жанна встретила его у входа, обрадовалась возвращению. Отнесла ведро с водой Омару, вернулась. Клинцов к тому времени успел снять башмаки, растянулся на матрасе. Жанна села рядом, положила ему ладонь на лоб.

— У тебя жар? — спросила она обеспокоенно.

— Чепуха, пройдет — перетрудился.

— Я позову Владимира Николаевича?

— Не надо. Пройдет. Расскажи мне лучше, чем закончились ваши дебаты по проекту договора. Сенфорд победил?

Сенфорд оказался легким на помине, появился неведь откуда, шагнул к постели Клинцова и заговорил, начав со слова, которым Клинцов закончил свой вопрос к Жанне:

— Победил. Да, я победил. Не все же вам побеждать, твердолобым фанатам. Способность идти на компромисс — признак цивилизованного человека. Разве не так, мистер Клинцов?

— Возможно, — согласился Клинцов, не желая раздражать Сенфорда. — Поделитесь со мной радостью вашей победы.

— Охотно, — сказал Сенфорд, присаживаясь у другой стороны постели Клинцова. — Итак, первое: он — прекращает стрельбу, мы — выставляем ему в достаточном количестве пищу и воду.

— Это я уже слышал. Оружие останется у него?

— Да. Иначе он может подумать, что мы хотим заманить его в ловушку. Он должен получить возможность возвратиться все в первоначальное состояние, если обнаружит, что мы не выполняем условия договора. Но мы выполним все условия!

— Каковы же они?

— Мы не станем его преследовать, мы не станем выяснять, кто он, как сюда попал, мы не будем ему мстить, навязывать свои правила поведения и пользования каким-либо преимуществом при распределении средств безопасности и жизнеобеспечения.

— А он соблюдает лишь одно условие — не стреляет в нас?

— Этого мало?

— Это ничто. Надо потребовать, чтобы он сдал оружие — это прежде всего. Далее: он должен открыть нам, кто он, как оказался здесь, что ему известно о катастрофе, он обязан подчиниться всем нашим правилам и быть готовым к тому, что мы, если выйдем отсюда, передадим его в руки правосудия за совершенные им преступления. С нашей стороны мы могли бы пообещать ему лишь пищу и воду. Если же он откажется выполнить хоть одно из наших требований, мы убьем его.

— С такими предложениями я к ч у ж о м у не пойду, — сказал Сенфорд.

— Разумеется. Должен идти тот, кто убьет его.

— Это старая песня, мистер Клинцов, и мы не хотим ее слушать, — заявил Сенфорд. — Для вас важно сохранить принцип, для нас — жизнь. Тут мы расходимся. Да и что это за принцип? Принцип чести? Принцип морали? Какой чести и какой морали? Кем он вам внушен, какой высшей и непогрешимой инстанцией? Богом, которого нет, или обществом, которое, судя по всему, более не существует? Жизнь, бытие — вот единственная неоспоримая ценность в условиях глобальной катастрофы. Любая жизнь, любое бытие. В том числе и бытие ч у ж о г о. А вы — убить, казнить... Забудьте об этом. Наш проект договора предусматривает сохранение жизни. Вы же хотите продолжать войну до победы, то есть до чьей-либо смерти. Но это закон, принцип канувшего в небытие мира. В центре нашей морали, нашей философии должна находиться жизнь. Как вы этого не понимаете? Ничего отныне нельзя покупать ценой жизни, тогда как любой ценой можно покупать жизнь. Действовать только ради жизни. Всякое иное действие, противоречащее жизни, и, стало быть, всякая другая мораль, другие принципы — все это должно быть отброшено и забыто.

— Питаться падалью, но только бы жить?

— Да.

— Самопожертвование вы тоже отвергаете?

— Отвергаю. Кроме последнего, на которое иду, возможно, я. Ради утверждения новой системы ценностей.

— Если ч у ж о й вас прихлопнет, то никакого утверждения новой системы ценностей не произойдет. А если вы останетесь живы, Сенфорд, то не будет никакого самопожертвования.

— Важна готовность к самопожертвованию. Пожертвовать собой — не ахти важно. Важно — решиться на самопожертвование. Это самое трудное.

— Теперь о вашей новой системе ценностей, Сенфорд. Буквально несколько слов, после чего я пошлю вас к черту, так как хочу вздремнуть. Так вот: она, во-первых, не ваша, а во-вторых, не нова. Она действует на уровне инстинктов в животном мире. Именно там каждая жизнь, каждое бытие — ценность, которая защищается любой ценой, в том числе ценой другой жизни. Полное отсутствие норм и, конечно же, морали. Есть еще социальные животные, где жизнь ценится как жизнь рода, вида. Там жизнь рода может охраняться ценой жизни отдельных животных, там допустимы жертвы и самопожертвование. Среди пчел, муравьев, стадных животных... Вы это знаете. Так вот, ваша система ценностей, Сенфорд, даже не из мира стадных животных.

— Но разве не ваши принципы и не ваша мораль отбросила нас на этот уровень? Да, это не новая система ценностей, но это как раз та система, которая дала возможность живым существам на земле выжить. А на ваши ценности я плюю! И в моем лице — все человечество!

— Уходите, Сенфорд, — махнул рукой Клинцов. — Вы мне надоели.

— Вы мне — тоже!

Клинцов закрыл глаза и снова почувствовал на своем лбу руку Жанны. Подумал: «Так и умереть бы с этим ощущением». Прохладная, нежная, любимая рука. Он чувствовал ее собственный аромат, который его чуть-чуть пьянил, но больше умилял и успокаивал. Ему хотелось поцеловать ладонь, но для этого надо было сделать движение, а это казалось невероятно трудным. Он забыл, как приказать своей руке, своим губам совершить необходимое движение. Мысль, заключенная в слово и содержащая приказ руке, губам, была бессильной. И мысль и слово должны быть включены в бесспорное желание, чтобы действие произошло. Доминирующее желание было другим: так бы и умереть, заснуть,

забыться. Забыться — забыть себя. Но помнить ее, но чувствовать ее, прикосновение ее руки...

— Я позову Владимира Николаевича, — сказала Жанна.

— Позови, — согласился Клинцов.

Глебов пришел со своим чемоданчиком. Усевшись рядом с Клинцовым, долго копался в чемоданчике. Жанна следила за его руками и не могла понять, что же он ищет: одни и те же пузырьки, пинцеты, шприцы оказывались в его руках по нескольку раз. Наконец, так ничего и не выбрав, он приказал Жанне:

— Принесите воды. И побольше, целый чайник. Хорошо бы кипяченой, горячей.

— Будем пить чай? — усмехнувшись, спросила Жанна: она подумала, что Глебову не столько нужна вода, сколько то, чтобы она, Жанна, ушла.

— Возможно, — ответил Глебов и снова принялся копаться в своем чемоданчике.

— Владимир Николаевич, — быстро заговорил Клинцов, едва Жанна отошла, — нет ли у вас в чемоданчике чегонибудь такого, что могло бы избавить меня еще хотя бы дня на два от возможной потери сознания и сил. Пусть будет больно — черт с ней, с болью! Пусть это будет даже яд — мне надо продержаться еще два дня...

— Чтобы убить ч у ж о г о? — спросил Глебов.

— Да.

— Или чтобы погибнуть самому от его пули?

— И это было бы неплохо. Но давайте оставим эту тему, дорогой Владимир Николаевич. У нас так мало времени, чтобы поговорить о главном. Так есть у вас какое-нибудь средство или нет? Что-нибудь наподобие того, что в шприцах солдат современных армий...

— Разве вам так плохо, Степан Степанович? — спросил с тревогой Глебов.

— Увы, Владимир Николаевич. И, пожалуйста, ответьте на мой вопрос.

— Я должен вас осмотреть, — уклонился от ответа Глебов.

— И только после этого?..

— Да, и только после этого я смогу сказать что-либо определенное.

Глебов медлил с заключением, хотя Клинцов и торопил его. Он еще и еще раз осматривал и ощупывал Клинцова, слушал его сердце и легкие, измерял давление и пульс, ставил градусник. Клинцов заподозрил, что Глебов дожидается возвращения Жанны, чтобы избежать прямого ответа, раздраженно спросил:

— Сколько можно возиться, Владимир Николаевич? За такое время и дурак смог бы все понять...

— Дурак — мог бы. Тут вы правы. А умный не может, — ответил Глебов и вставил Клинцову градусник в рот.

Клинцов тут же вынул его и возвратил Глебову.

— Хватит! — сказал он. — Мне понятны ваши уловки, Владимир Николаевич. Отвечайте, голубчик!

— Голубчик — это не ваше слово. Голубчик — это мое слово. И вы не должны ко мне так обращаться, — продолжал тянуть время Глебов. — Если мужчина пишет своей возлюбленной: «Я — ваш раб!», то это вовсе не означает, что и она должна писать ему: «Вы — мой раб» и так далее. Голубчик — это больной: он лежит тихий и беззащитный, как голубок. А врач — это коршун, это орел. Он кружит над голубком и знает, что тот в его власти...

— Вы хотите меня рассмешить, Владимир Николаевич?

— Хочу. Если бы Жанна, которая к нам приближается, как вы уже, наверное, заметили, услышала ваш громкий и здоровый смех, она была бы очень и очень этому рада, — расплылся в победной улыбке Глебов.

— Ну, спасибо! — только и успел сказать Глебову взбешенный Клинцов.

Вернулась Жанна, принесла чайник горячей воды: Омар вскипятил воду с помощью бензиновой форсунки, нарушив приказ Клинцова, запрещавший пользоваться открытым огнем. Вернее, нарушила его Жанна, приказав Омару вскипятить чайник.

— Зачем ты это сделала? — возмутился Клинцов.

— Не обращайтесь на него внимания, — сказал Жанне Глебов. — Вы правильно поступили, потому что вашему мужу необходимо обильное питье, чтобы вывести из организма, из крови... ну, будем так говорить, вредные продукты. Мы сделаем в некотором роде даже чай, очень приятный на вкус. Плюс инъекции, плюс полоскание, плюс ингаляция жидкостью весьма благородного состава — и мы быстро добьемся весьма заметных результатов. Весьма и весьма! Так-то, голубчик! — обратился он к Клинцову. — А ваша задача — не возражать, не брыкаться, не сопротивляться, быть послушным и терпеливым. Вот и все. К вечеру вы почувствуете себя снова здоровым и молодым.

— Стану здоровым или только почувствую? — спросил Клинцов.

— Не придирайтесь к словам. Слова — это не ваша профессия. Ваша профессия — это материальные предметы исчезнувших цивилизаций. Слова же — это предмет моих исследований. Повторяю: вы почувствуете себя здоровым.

— Вы еще сказали: и молодым, — напомнила Жанна.

— Да, и молодым.

— Спасибо и на этом, — сказал Клинцов, поняв, что Глебов обещает ему только временное возвращение здоровья. — Тогда приступайте к вашему шаманству. Доверяю вам мое брэнное тело.

— И дух, голубчик. И дух. Душу тоже доверьте мне, — потребовал Глебов.

— Черт с вами, берите и душу, — ответил Клинцов. — Только побыстрее, пожалуйста, — попросил он. — Потому что у меня есть неотложные дела.

— А это уж как получится, — развел руками Глебов.

— Когда же он пойдет? — спросил о Сенфорде Клинцов. — Как вы решили?

— Сейчас и пойдет, — ответил Глебов, взглянув на часы. — Омар понесет пищу, Сенфорд пойдет вместе с ним. И останется возле пищи ждать.

— Зачем же Омар? Пусть пищу несет сам Сенфорд.

— Мы так решили, — сказал Глебов.

— Вы так решили... А нельзя ли отменить вообще ваше решение? Вы же видите, как Сенфорд боится. Все его речи — о страхе. Пожалели бы его. Спросите: может быть, он передумал идти?

— Спрашивали, — ответила Жанна.

— Спросите еще раз.

— Это оскорбит его, — сказал Глебов. — Не пойдет сам — напоминать не станем. А спрашивать не будем, — он снова взглянул на часы. — Так мы решили.

Клинцов никак не мог принять их решение, но и помешать был не в силах.

— Ох, чует мое сердце, что это плохо кончится: погибнет либо Омар, либо Сенфорд. А то и оба. Но зачем же еще и Омар?

— У Омара есть сын, он думает о нем, — ответил Глебов.

— Он так сказал вам, Владимир Николаевич?

— Да. Он сказал: «Если нельзя убить аш-шайтана, надо его задобрить». Его мысль, его желание, его право.

— Отложите все до завтрашнего дня, — попросил Клинцов. — Успеете совершить глупость... — он хотел добавить: «...если я ночью не убью ч у ж о г о», но промолчал, не желая выслушивать новые уговоры Жанны. Да и Глебова — тоже.

— Нельзя, — сказал Глебов. — Ч у ж о й озверееет от голода и жажды, станет

прорываться к нашим запасам, натворит бед.

Клинцов устал от этого разговора. Проговорил с нескрываемой обидой:

— Ну, как хотите. Скоро вы убедитесь, что прав я. Ч у ж о й — всегда ч у ж о й. Он не может стать нашим.

Сенфорд и Омар появились минут через пять. Омар — с узелком в одной руке, в котором угадывалась миска, и с бидончиком для воды — в другой. У Сенфорда на груди, буравя лучом кирпичную стену над головой Клинцова, висел фонарь.

— Благословите, — сказал Сенфорд. — Ухожу. — Слово «ухожу» прозвучало значительно и мрачно.

Глебов покивал головой. Клинцов промолчал. Жанна сказала:

— Поскорее возвращайтесь, Мэттью. С победой, конечно.

Сенфорд и Омар ушли. Глебов похлопал ладонью по кирпичной стене и спросил:

— Как они месили глину для этих кирпичей? Ногами?

— И ногами, разумеется, — ответил Клинцов. — А что?

— Мне кажется, что я до сих пор ощущаю запах потных ног, — ответил Глебов. — Скверно все это, — вздохнул он, — очень скверно...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Они остановились у небольшой груды вывалившихся из стены кирпичей. Первым остановился Омар, осветив груды фонарем, и что-то сказал. Сенфорд не понял его, но догадался, что он выбрал место и намерен здесь, на кирпичях, оставить пищу и воду. Сенфорд согласился, кивнув головой. Вместе они разобрали часть груды и сложили на ней кирпичи плашмя, чтобы миска и бидон не могли опрокинуться.

— Well? — спросил Омар, и это, кажется, было единственное слово, которое он знал по-английски.

— Well, — ответил Сенфорд.

Омар протянул ему руку, чтобы попрощаться.

— Иди, иди! — замахал на него Сенфорд. — Без нежностей, пожалуйста! Уходи, старик!

Омар поклонился и быстро пошел прочь, светя себе под ноги — он был босой.

Сенфорд сел на пол возле груды кирпичей, посветил вправо, влево и, убедившись, что рядом никого нет, погасил фонарь. О том, что он болван, Сенфорд успел сказать себе уже не раз после того, как с языка его сорвалось согласие отправиться сюда, на переговоры с ч у ж и м. Он сам не понимал, как это произошло, почему он так сплеховал. Слова согласия выскочили сами. Хотя, если быть откровенным, к ним его вынудил Холланд. Клинцов поддел его своим вопросом, как поддевают на удочку глупого карася, а Холланд подсек и поймал. Все это, конечно, в отместку за его глупейшее предложение послать на переговоры Жанну. Так ему и надо: мог бы попрердержать язык. Впрочем, обстоятельства обстоятельствами, но было же и в нем что-то такое, что побудило его заявить: «Не надо голосовать, пойду добровольно». И вот — пошел. Не совсем, как он понимает, добровольно, но и не целиком же по принуждению, черт возьми! Пожалел он их или не пожалел, но надо было что то делать и ему, не только болтать, упражняться в философских вывертах.

Вот и он, Мэттью Сенфорд, свободно избрал для себя первейшую истину: жизнь без страха смерти. Она не столь высока, наверное, чтобы построить на ней целую философию, но ее достаточно для того, чтобы совершить поступок, пожелав своим ближним жизни без страха смерти. И вот он здесь. Хотя самому

ему страшно. Страшно до омерзения. И не само вечное неведение его страшит, а путь к нему: убивающий разум ужас приближения к нему, боль и кровь... А неведение — благо, если нет жизни, свободной от страха смерти. Для себя он уже решил, что выхода из черной башни нет. Никому нет, не только ему. Но глубже этого решения, в тайнике тайников, все-таки теплится слабая надежда, имя которой — чудо. Может быть, это чудо — ч у ж о й, который знает нечто такое, чего не знает он, Сенфорд, и чего не знают его друзья. Если он убивает, значит, хочет — и надеется — их пережить и, возможно, выжить? А если не надеется, то что же? Отчаяние? Звериная ненависть ко всякой иной жизни, которая теплится рядом? Безумие? Хочется все-таки думать, что ч у ж о й что-то знает и надеется... Важно не только знание ч у ж о г о, но и знание о нем: кто он, почему здесь, чего хочет.

Сенфорд включил фонарь и осветил по сторонам: надо было как-то привлечь ч у ж о г о. Привлекать голосом Сенфорду не хотелось: он опасался, что голос выдаст его страх, что он помешает ему вовремя расслышать шаги ч у ж о г о. К тому же он просто не знал, какими словами мог бы подзывать к себе ч у ж о г о. Задумавшись над последним, он пришел к убеждению, что все слова, которые пришли ему на ум, звучали бы чертовски глупо. Самое правильное и самое нужное слово, решил он, возникнет тогда, когда он увидит ч у ж о г о. Надо непременно увидеть его. Сенфорду почему-то представлялось, что на ч у ж о м форма десантника ВВС: пряжки, молнии, ремни, накладные карманы, прозрачное забрало шлема, большая желтая эмблема на рукаве, автомат на груди, кинжал на поясе. Таким ему, архитектору и археологу Мэттью Сенфорду, сугубо гражданскому человеку, виделся ч у ж о й. Человек, которого он боялся.

Выключив фонарь, Сенфорд решил, что снова включит его через минуту-другую, а если обнаружит приближение ч у ж о г о, повернет рефлектором к себе, чтобы осветить свое лицо и правую руку, пустую ладонь, при этом он будет улыбаться и держать руку с растопыренными пальцами, давая понять, что он пришел сюда с дружескими намерениями, что у него нет оружия. Хотя, конечно, следовало бы его убить, когда б была уверенность, что это удастся сделать без новых жертв. Новой жертвой, разумеется, может стать и он, Сенфорд, но жертвой, которая не оставит других безоружными. Гибель же вооруженного означала бы скорую гибель всех. Словом, так: если он добьется с ч у ж и м мира, это будет несомненная победа; если же он погибнет, то это будет лишь потеря, а не поражение.

— Ты прав, Мэттью, — похвалил он себя. — Ты молодец, — хотя в душе все равно считал себя, как и прежде, болваном.

О том, что произошло там, за пределами черной башни, думалось постоянно. Кажется, даже во сне. Да и сна теперь не было — был лишь тягучий, с провалами, кошмар: мысль и воображение пускались во все тяжкие, чего только не преподносили то возбужденной надеждой, то подавленной отчаянием душе. Особенно жестоким становилось воображение в полусне: все самое родное, самое дорогое подвергалось в рисуемых им картинах ужасному уничтожению... Но и пробуждение почти не спасало от страданий: мысль о глобальной катастрофе раздирала на части обезумевшую душу. Есть ли теперь кто-то в космосе? Если есть, он видит Землю не голубой, а черной... Собственная участь тоже пугала, хотя в сравнении с участью всех была лишь частным случаем. Радиация — не роса и не снег, не высохнет, не растает под солнцем. Ее затухания надо ждать не день, и не два, и даже не год. А ждать невозможно, а помощи не будет. Отравленная пустыня навсегда заперла их в черной башне. Конец их предreshен, если только не чудо...

А ведь столько талдычили, что катастрофы не будет, что никто не хочет

войны, что торжествует политика взаимного сдерживания, политика взаимного равновесия сил. Правда, находились безумцы, которые требовали упреждающего удара, упреждающего возмездия, возмездия за страх, за усталость, за собственное безумие. От них отмахивались, как от назойливых мух, и верили в магическое равновесие. Но при этом мало кто задумывался над тем, что равновесие достижимо лишь на миг, что это только точка на линии неравновесия.

Жизнь приучила нас к тому, что мы, по преимуществу, свидетели — свидетели чужой беды, чужой смерти, чужой катастрофы. Лишь редкие люди, которых жизнь потрепала и оставила в живых, понимают, по ком звонит колокол. Остальные думают, что не по ним, что они — только свидетели. И всегда будут свидетелями, только свидетелями. Что даже мировая катастрофа явится для них лишь зрелищем — небывалым, грандиозным, ужасным, но все же только зрелищем. А еще есть и такие, которые со злорадством ожидали гибели гигантов. Интересно, хихикают ли они теперь?

Мировая катастрофа — это катастрофа без зрителей, без свидетелей. Все — ее участники, все — ее жертвы. И разумные и безумные, малые и великие, хитрые и простодушные, виновные и невинные.

Талдычили, что этого не случится, что никто этого не хочет, как будто в этом мире все зависит от хотения, от заклинаний, а не от действия. Нужно было протестовать не у ракетных баз, а разрушать заводы, производящие ракеты, не избирать глупых правительств, не пускать детей в армию, не кормить ученых, создававших ядерные бомбы и ракеты, не ставить пограничных столбов... Библия ввела всех в заблуждение: в начале было не слово, а дело и, стало быть, надо было не играть в слова, а делать дело.

Сенфорд осветил фонариком на ладонь правой руки, растопырил пальцы.

— Это хорошо, — сказал он себе, — что ты взялся за дело.

Он поднял руку и, продолжая ее освещать, повертел ладонью в разные стороны, будто уже показывал ч у ж о м у, что в руке у него ничего нет. И вдруг услышал голос. Слева от себя, совсем рядом.

— Не двигаться! — приказал он.

Сенфорд замер с поднятой рукой, на которую был направлен луч его фонаря.

— Кто ты? — спросил голос.

— Здесь пища для тебя, — ответил Сенфорд. — Мы хотим, чтоб ты не убивал нас.

— Я? — засмеялся ч у ж о й. — Вы сами убили себя. И меня, — добавил он, включив свой фонарь.

Сенфорд заслонился от яркого света рукой. И, кажется, услышал выстрел...

— Что это было? — спросил Вальтер, подняв голову и отложив паяльник. — Мне показалось, что был выстрел.

— Мне тоже, — ответил помогавший Вальтеру Холланд.

— А, дьявольщина! — ударил себя по колену кулаком Вальтер. — Неужели с Сенфордом?.. Не хотелось бы думать.

— А что же еще? — спросил Холланд.

Клинцов выстрела не слышал: за минуту до этого его одолел сон. Разбудил его голос Вальтера: «А, дьявольщина!». Он мгновенно понял, о чем Вальтер и Холланд ведут разговор. Попросил Глебова позвать их. Пока Глебов ходил за ними, Жанна склонилась над Клиновым, погладила его по щеке и потребовала:

— Обещай, что ты никуда не пойдешь. Ты болен.

— Да, да, — ответил Клинов. — Я никуда не пойду. — Спросил: — У входа по-прежнему дежурит Кузьмин? — он лежал головой к стене, и контрфорс заслонял от него вход.

Жанна поднялась, выглянула за контрфорс.

— Ой! — всплеснула вдруг руками. — Омар ушел!

— Остановите его! Остановите Омара! — крикнул Клинцов.

Остановить Омара не удалось, хотя Вальтер бросился было вдогонку за ним: у первого же поворота Вальтер потерял его. Вернулся злым, набросился на Ладонщикова, который по неуклюжести своей случайно наступил на оставленный Вальтером паяльник.

— Растяпа! Идиот! — закричал он на студента, сатанея. — Убью! — он замахнулся на Ладонщикова погнутым паяльником и, возможно, ударил бы его, но вовремя подоспел Холланд: он успел перехватить руку Вальтера и вырвать паяльник.

— Это ни на что не похоже, — пожурил Вальтера Клинцов, когда Холланд подвел к нему его. — Держите себя в руках.

— Дайте мне пистолет, и я пойду, — угрюмо произнес Вальтер.

Клинцов почти не видел его лица — Вальтер стоял спиной к свету. Лишь капля пота или слеза поблескивали у него на скуле — злой фиолетово-оранжевый лучик.

— Будем ждать возвращения Омара, — как можно спокойнее сказал Клинцов. — И приведите сюда Саида, пусть он будет у нас на глазах.

Глебов позвал Саида, приказал ему сесть.

Саид сел у ребра контрфорса, откуда ему был виден вход.

— Зачем ты отпустил отца? — спросил его Глебов.

Саид в ответ лишь горестно покачал головой.

Возвращение Омара ждали полчаса? — больше, чем диктовалось необходимостью: в прошлый раз, чтобы выставить пищу для ч у ж о г о и проводить Сенфорда Омару понадобилось не более пятнадцати минут.

— Но ведь и выстрела не было, — сказал Глебов. — Значит, еще ничего не случилось.

— Если он не нашел Сенфорда на месте, если Сенфорд ушел с ч у ж и м — такое могло быть, какая-нибудь причина, — предположил Холланд, — это заставляет Омара ждать или искать Сенфорда — вот вам и объяснение его задержки. К тому же, как справедливо заметил Глебов, не было никакого выстрела, никто не слышал, а ведь мы молчали.

— Если Сенфорд ушел с ч у ж и м, — возразил Холланду Вальтер, — что означал тогда выстрел, который мы все слышали? Тот факт, что сейчас нет выстрела, ничего не означает: убить можно и другим способом. Дайте мне пистолет, и я пойду: ведь надо же знать, что там произошло! А-а, черт бы вас всех побрал! — закричал он сквозь стиснутые зубы, ударяя кулаками в стену. — Черт бы нас всех побрал! Всех! Всех!

Холланд рванул его за плечо, повернул к себе лицом и ударил по лицу.

— Заткнись! — заорал он на Вальтера. — Мальчишка! Сопляк! Истеричная дамочка!

Глебов возник между ними с широко расставленными руками. Ладонщиков обнял Холланда и отвел в сторону. Не сделай они этого, быть бы драке. Вальтера, во всяком случае, удалось удержать с большим трудом: понадобилась не только сила Глебова, но и умение Жанны упрашивать и успокаивать.

«Если у Вальтера сдают нервы, — с тревогой подумал Клинцов, — то чего же ждать от других?» — Вслух же он сказал, когда все успокоились:

— Будем ждать еще полчаса. Спроси у Саида, — попросил он Глебова, — не было ли у его отца какого-либо оружия, когда он уходил — ножа, кинжала, топора.

Глебов спросил.

— Саид ответил, что отец ушел с ножом.

— Значит, он охотится за ч у ж и м, — заключил Клинцов. — И мы не вправе ему помешать, — повысил он голос. — У каждого из нас есть такое право — убить ч у ж о г о. Но приказываю здесь еще я! Итак: всем разойтись и заниматься своим делом. Со мной останется только Холланд. Ты, Жанна, — сказал он жене, — тоже оставь меня на несколько минут, помоги, например, Саиду приготовить обед, что ли. И последи, чтобы он не сбежал, не отправился на помощь отцу.

— Хорошо, — неохотно согласилась Жанна. — А за Саидом пусть следят мужчины. Кузьмин, например. Ты слышал, Кузьмин, что приказал начальник экспедиции? — спросила она у дежурившего возле входа Николая Кузьмина.

— Слышал, — ответил тот. — Мышь мимо меня не проскочит!

Едва Клинцов и Холланд остались вдвоем, Клинцов вынул из-под матраца толовую шашку, которую он прихватил с собой, возвращаясь утром из штольни, и протянул ее Холланду.

— Ну? — спросил Холланд, вертя в руке шашку. — Зачем это?

— Нужен детонатор, — сказал Клинцов. — Можете ли вы, Джеймс, сделать детонатор?

— Сделать? Но ведь существуют готовые детонаторы. У меня есть две или три такие штуковины, случайно оказались в сумке. И метра три бикфордова шнура. Но зачем вам это?

— Очень хорошо! — обрадовался Клинцов. — Это большая удача! Вы просто молодчина, Джеймс!

— Я, разумеется, счастлив, что доставил вам нечаянную радость. Но тут нет никакой моей заслуги. Когда Селлвуд решил взорвать стену башни, он приказал мне приготовить взрыватели. С той поры они в моей сумке. Принести, что ли?

— Нет, Джеймс, — остановил Холланда Клинцов. — Я еще не все сказал. Теперь, когда есть детонаторы, срабатывающие, насколько я понимаю, только от бикфордова шнура, задача заключается в том, чтобы создать детонатор, взрывающийся от какого-нибудь примитивного ударного устройства, как запал гранаты. Это возможно, Джеймс? Ну, пошевелите мозгами, призовите ваш опыт! Нужна граната, Джеймс, которая взрывалась бы через секунду-другую.

— И вы пойдете с нею на ч у ж о г о? — догадался Холланд.

— Да. Я пойду с нею на ч у ж о г о, потому что нельзя оставить вас без пистолета. Так как же, Джеймс? Я очень надеюсь на вас.

— Нет, — помолчав, ответил Холланд. — Этот детонатор переделать невозможно. Он взрывается мгновенно и только от искры. В нем нет дистанционного устройства. Роль такого устройства выполняет бикфордов шнур. Пока шнур горит, толовую шашку можно швырнуть, отбежать от нее и так далее. Но как только огонь достигает детонатора, он мгновенно взрывается. И шашка тоже. Можно, конечно, сколь угодно укорачивать шнур... Да, взять очень короткий кусочек шнура — сантиметр-два, привязать к шашке зажигалку... Потом вы становитесь за укрытие, за угол, например, в нужный момент щелкаете зажигалкой, шнур загорается, вы бросаете шашку в противника, раздается взрыв... Только так. Ничего другого предложить не могу.

— Хорошо, — согласился Клинцов. — Соорудите мне такое устройство, Джеймс. И не откладывайте работу в долгий ящик. Еще одна просьба: никому не говорите обо всем этом, сделайте все незаметно.

Холланд сунул толовую шашку в карман и удалился.

Возвратилась Жанна. Молча села рядом, вздохнула. Пришел Глебов. Тоже сел, не говоря ни слова. Да и никто не разговаривал: всеми овладело напряженное ожидание. Тишина лишь усиливала это напряжение.

Неведение при здравом рассудке — жестокое испытание, особенно тогда, когда в области неведения оказываются источники жизненно важной информации. Такое неведение — это отсутствие ответов там, где рождаются один за другим сотни больных вопросов, касающихся жизни и смерти, чести и позора, победы и поражения, свободы и рабства... Лавина вопросов, которую, кажется, ничто не в силах остановить, разве что вопль отчаяния и безумия. Или забота о ближнем своем. Первым это понял Глебов.

— Мы тут сидим, — сказал он не очень громко, но его услышали все, потому что стояла удручающая тишина, — а они, возможно, нуждаются в нашей помощи.

Это не так, — ответил Клинецов: он хоть и понял Глебова, его желание прервать напряженное молчание, но понял также и то, что его слова — сигнал к необдуманному поступкам. — Это не так! — произнес он еще раз и громче. — Если они живы, то в нашей помощи не нуждаются: толпа при такой охоте — не помощник. Если же они мертвы — то тем более не нуждаются в нашей помощи. А они либо живы, либо мертвы — третьего не дано: убийца отлично владеет своим ремеслом. Ждать! — приказал он, осознавая, что приказа хватит ненадолго, что ожидание не может быть длительным, что есть предел, за которым оно будет восприниматься как трусость, как отвратительная трусость — уродливое дитя эгоизма и неблагородства.

Если разум способен погасить чувство, то сильное чувство способно отмести все доводы разума. То, что сказал Клинецов, — доводы разума. То, что сказал Глебов, — продиктовано чувством. Воля еще какое-то время будет колебаться между двумя этими точками, но в конце концов наступит момент, когда она прикажет действовать, — и трудно предугадать, у какой точки в этот момент будет находиться ее маятник. Скорее всего — у точки, обозначенной Глебовым: неразумно жертвовать кем-либо, но какие доводы разума способны противостоять самопожертвованию?

Приказав ждать, Клинецов, расчетливо создал ситуацию, в которой решающее слово, как ему думалось, все равно будет принадлежать ему: он выиграет время, необходимое для того, чтобы Холланд успел приспособить к толовой шашке взрыватель, и для того, чтобы в каждом, кто способен на самопожертвование ради других, вызрело это чувство и вместе с ним способность понять его, Клинецова, и признать его право на самопожертвование. Он заявит об этом праве первым и выиграет...

— Джеймс, — напомнил он Холланду, — я жду вас.

— Все готово, — отозвался Холланд. — Несу.

— Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы встать и двигаться, — сказал Клинецов Глебову. — Словом, спасибо вам, Владимир Николаевич, — говоря это, он взял Жанну за руку, понимая, что это, быть может, последнее прикосновение их рук. Боялся, что дрогнет его голос и что она догадается о его отчаянии, которое в этот миг вдруг овладело им: ведь он прощается с нею...

— Зачем тебе вставать и двигаться, — возразила Жанна. — Нет никакой необходимости. Ты болен — и должен лежать.

— Тише! Тише, друзья! — потребовал Кузьмин. — Мне почудились голоса.

Все бросились к нему, к выходу, лишь Клинецов остался на месте да еще Холланд, который подошел к Клинецову, воспользовавшись тем, что рядом с ним не оказалось ни Жанны, ни Глебова.

— Вот, — проговорил Холланд шепотом, присаживаясь рядом с Клинецовым и протягивая ему шашку, — все сделал. Зажигалка работает безотказно. Жаль, конечно, зажигалку... Но иначе нельзя, пришлось ее привязать к шашке, потому что другая рука у вас будет занята фонарем.

— Хорошо, — также шепотом поблагодарил Холланда Клинецов.

— Пойдете? — спросил Холланд.

— Да, пойду, — ответил Клинцов.

— Если вы не вернетесь, пойду я, — сказал Холланд. — У меня есть еще один детонатор, а где шашки, я знаю. Однако возвращайтесь. Желая вам вернуться.

Кузьмину голоса, скорее всего, действительно лишь почудились: лабиринт молчал.

— Откликнитесь, Сенфорд! — крикнул в темноту Кузьмин. — Где вы, Сенфорд?

— Омар! — в свою очередь позвал Глебов. — Возвращайтесь, Омар! Наступившая вслед за этим тишина стала еще более угнетающей. Собравшиеся возле Кузьмина разошлись, Жанна и Глебов вернулись к Клинцову.

— Ну вот, — сказал Клинцов, поднимаясь на ноги. — Мне пора. И не нужно никаких уговоров, — предупредил он Жанну и Глебова. — Просто пора, — он задержал руку на плече Глебова, коротко поцеловал в щеку Жанну и вышел к жертвеннику. — Друзья! — объявил он, — вместо меня остается Холланд. — Я вооружен и знаю, что делать. Холланд расскажет вам о моем оружии. Я же уверяю вас, что сделаю все как надо. — Наверное, надо было еще что-то сказать, хотя бы для Жанны, но щекотавшая сердце жалость к Жанне, да и к самому себе, грозила приступом слабости, подножкой при первом же шаге. Клинцов больше ничего не сказал и решительно направился к выходу. И не оглянулся, о чем сразу же пожалел: так хотелось еще раз увидеть Жанну...

Едва оказавшись за поворотом, Клинцов остановился, выключил фонарик и прислушался. Тишина и темнота согласно слились в одно — в безвестность.

Дальше он пошел без света, ступая медленно и осторожно, на ощупь, держась у самой стены. Через каждые восемь-десять шагов замирал и снова прислушивался. Понял опасность своего положения лишь в тот момент, когда неожиданно наткнулся на препятствие — на кучу кирпича, преградившую ему путь: подумал, что, вероятно, оказался у того места, где Омар оставил Сенфорда и пищу для ч у ж о г о, и что теперь ему надо включить фонарик, убедиться, что это именно то место... Воображение мгновенно выдало ему варианты картины, которую выхватит сейчас из темноты луч света: труп Сенфорда... может быть, труп Омара... никого... посуда на кирпичной горке... стоящий лицом к нему ч у ж о й... Клинцов затаил дыхание, но услышал лишь шум собственной пульсирующей крови — сердце билось тяжело и напряженно. И еще он вообразил себе такую картину: Омар, охотящийся за ч у ж и м, бросается с ножом на него, Клинцова, в тот самый миг, когда он включит фонарь — ведь Омар, если он жив, поджидает ч у ж о г о затаившись. И ч у ж о й, и Омар для Клинцова сейчас одинаково опасны, если, конечно, каким-то образом не предупредить Омара. Но как это сделать, если любой сигнал выдаст его присутствие ч у ж о м у? Знать бы точно, что и кто впереди...

«А, пропади все пропадом, — сказал он себе, — впереди — только одно: опасность», — и включил фонарь. За кучей кирпича, прислонившись спиной к стене, сидел Сенфорд. Лицо его было залито кровью, во лбу зияла рана. Сенфорд был мертв.

Клинцов выключил фонарь, обошел Сенфорда и двинулся дальше. Вернуться с вестью о гибели Сенфорда он не мог, как не мог, вероятно, вернуться с этой вестью и Омар: возвращение для Омара означало бы лишь то, что его не отпустили бы в лабиринт снова, у Клинцова же возвращение отняло бы слишком много духовных и физических сил, необходимых ему теперь для его последней охоты. Он отчетливо понимал, что действие лекарств, которыми напичкал его Глебов, скорее всего — быстротечно, что у него мало времени. Ему надо успеть. Он даже верил, что успеет. Угнетало лишь то, что Омар может принять его за ч у

ж о г о. И тогда все усилия окажутся трагически напрасными. И что будет с Омаром, если он обнаружит, что убил не ч у ж о г о?..

В конце концов устоялась мысль: он найдет нишу или тупичок, чтобы обезопасить себя от нападения сзади, и станет оттуда подавать сигналы светом и голосом, Омар поймет, что сигналы подает не ч у ж о й: узнает его, Клинцова, по голосу, к тому же можно — вот счастливая мысль! — просто произносить его имя; для ч у ж о г о же они будут означать лишь то, что очередная жертва ждет его, как поджидал его бедный Сенфорд... Он тоже, вероятно, подавал сигналы, иначе как бы ч у ж о й обнаружил его и приблизился к нему незамеченным? Стало быть, и к нему, к Клинцову, ч у ж о й приблизится незамеченным?.. Насколько все было бы проще, если бы Омар не участвовал в охоте. «Ох, Омар, Омар, — мысленно произнес Клинцов, чтобы остановить ненужное предположение, возникшее помимо его воли и желания, — предположение о том, что повар, возможно, уже мертв. — Я не желаю тебе зла, Омар, тем более, что моя жизнь уже ничего не стоит. Но многого стоит жизнь наших близких. И поэтому мы должны убить ч у ж о г о...»

Сенфорд мог бы жить. Что за нелепая мысль — договориться с ч у ж и м — абсурд, катастрофа. Не зная, как совладать с ним, боясь его и ненавидя, люди с кровью и муками извлекали из себя ч у ж о г о, отторгали его, загоняя в запредельные миры, именуя дьяволом, сатаной, аш-шайтаном, воздвигая на путях его возвращения преграды из заклинаний и жертв. Но он время от времени возвращался, когда люди теряли бдительность, принося с собой смерть и опустошение. Его следы — в пустынях под безымянными курганами, в бесчисленных развалинах, в мрачных руинах, в пепле и ржавчине, мертвой земле. Люди и бога-то придумали лишь для того, чтобы он убил дьявола. Впрочем, придумали — не то слово: создали, выстрадали, сжигая на его алтаре свою свободу, разум, самое жизнь. Бог, как и дьявол, убивал людей. Потому что ничего нельзя отторгать от себя — всякое отторжение покупается слишком дорогой ценой. Бог и дьявол — в самом человеке: он сам святой и грешный, милосердный и жестокий, порождение жизни и смерти. Разум дан человеку, чтобы казнить в себе злое и лелеять доброе. Нужно искать и будить в людях разум, а не искать и будить бога, как хотел бедный Сенфорд...

Потом, когда все случится, он вернется сюда и похоронит Сенфорда. Но не вернется к живым, потому что и сам уже мертв. Теперь он как солдат, сделавший себе укол и идущий через смертельную зону: он еще может выполнить боевую задачу, спасти других, но никто уже не может спасти его. Осуществить бы потом еще одно желание, последнее: подняться в белую башню, увидеть что там и остаться навеки в одном из ее лабиринтов, чтобы избавить Жанну и всех других от тяжелой необходимости хоронить его. Но будет ли это потом? И как подняться в белую башню, хватит ли сил?..

Он позволил себе думать, прислушиваться к собственным мыслям и чувствам, а надо было вслушиваться в окружающую тишину. Клинцов остановился и на две-три секунды задержал дыхание. Потом сделал еще шаг, провоцируя того, кто, может быть, слышит его, на какое-либо движение, и снова остановился, весь обратившись в слух. Но тишина никого не выдала. Клинцов двинулся дальше. Останавливался неожиданно — не для себя неожиданно, а для него, через разные промежутки времени, чтобы т о т не смог подладиться под его шаги, если уже идет за ним. И хотя эта хитрость ни к чему не привела, она все же избавила его от неприятного ощущения, что в любую секунду нападение на него может быть совершено сзади.

Он наткнулся на старика Омара и испытал при этом такой ужас, какого еще никогда не испытывал: он наступил на него, еще не зная, что это Омар, резко

отдернул ногу и упал, но не назад, а вперед, все на него же, на Омара, стал отталкиваться от него, чтобы подняться, и услышал стон. Этот стон вернул его из пропасти ужаса, потому что это был обыкновенный человеческий стон. Несколько секунд Клинцов сидел, приходя в себя, вспомнил о фонаре: «В левой руке, в левой руке», — дважды сказал себе мысленно, потому что в правой у него была граната, — и осветил лежащего. Это был Омар. Он сразу же узнал его. Омар лежал вниз лицом, упираясь руками в стену, воткнув пальцы в расщелину, словно собирался подняться. Он весь был в желтой глиняной пыли. Рубашка на его спине была задрана до самого затылка. Под левой лопаткой Омара торчала обмотанная черной изоляционной лентой рукоятка ножа. Этот нож Клинцов однажды видел у Омара.

Клинцов погасил фонарик. Предстояло обдумать, что ему делать дальше. Впрочем, ситуация была предельно ясна: надо было спасти Омара. Если нож не задел сердце, если он прошел мимо крупных кровеносных сосудов, если Глебов сделает все, что необходимо делать в таких случаях, Омар будет жить. Все это вероятно. И было бы преступлением пренебречь такой вероятностью даже в том случае, если реальнее другая вероятность — неизбежность смерти. Пока человек жив, его надо спасать. Тут для Клинцова не было никакой проблемы. Обдумать надо было лишь то, как все лучше сделать: вернуться без Омара и позвать кого-нибудь на помощь или попытаться самому отнести Омара. В первом случае он рискует подвергнуть опасности кого-нибудь из молодых — Вальтера, Ладонщикова, Кузьмина или Саида. Во втором случае он рискует лишиться сил, которые нужны ему для охоты на ч у ж о г о, тогда на охоту пойдет Холланд...

Клинцов нащупал пульсирующую жилку на руке Омара и принял решение: он понес Омара сам. Он подумал, что жизнь — не такая уж хилая штука, если она бьется в жилке даже тогда, когда под сердце всажен нож. Она сильна. Силы ее живучи. У него же нет ножа под сердцем.

Он пристегнул фонарь к ремешку над нагрудным карманом куртки, сунул гранату за пазуху и встал. Встал легко, чувствуя в себе избыток сил, — видимо, только теперь сработала в нем какая-то микстура Глебова, поднял Омара и, присев, взвалил его себе на плечо. Вспомнил, как таким же образом поднимал недавно Селлвуда.

Старик Омар был вдвое легче Майкла.

Клинцов впервые остановился лишь тогда, когда, выйдя из-за поворота, увидел светлое пятно впереди. Теперь следовало собраться с силами, чтобы сделать последнее: не доходя шагов тридцать до входа, опустить на землю Омара и крикнуть: «Помогите Омару! Он здесь, я принес его. Он ранен. Сенфорд убит». И с этими словами снова удалиться в лабиринт, не дожидаясь, что кто-то подойдет к нему, не стараясь увидеть Жанну. Он уже простился с Жанной. Нельзя прощаться дважды...

Он все сделал так, как задумал. Лишь ушел не так быстро, как надо было уйти. Он услышал голос и плач Жанны. Она кричала ему вслед: «Степа, Степочка! Ну вернись же хоть на минутку!..» И когда он скрылся за поворотом, у него начали подкашиваться ноги. Пришлось остановиться. Это были тяжелые минуты. Он плакал. Потом отстегнул от куртки фонарь, достал из-за пазухи гранату и, оттолкнувшись спиной от стены, зашагал в глубь лабиринта, помня о том, что вскоре увидит кучу кирпича, а за ней убитого Сенфорда.

Он никогда не готовил себя к такому концу. Даже предположить не мог, что такое окажется возможным. Хотя, конечно, как и каждый смертный, думал о последнем часе, о последней минуте — иногда, когда одолевали горестные чувства покинутости, заброшенности, ненужности. И как каждый смертный, гнал от себя эти мысли, зная, что в них мало проку, что даже великие мудрецы мира

ничему другому не уделяли внимания так мало, как размышлениям о смерти. То, что иногда представлялось ему, было до безобразия банальным: болезнь, забытье, смерть. Так умирали почти все его знакомые. Были, конечно, исключения: смерть при ясном сознании, ужасные страдания и смерть, несчастные случаи. Когда бы был выбор, предпочел бы для себя смерть без страданий, мгновенную смерть — так думалось, хотя знал, что выбора не будет. В кругу друзей, случалось, хорохорился, что пресечет свою жизнь, если увидит, что дальше только муки. Но как, не представлял, да и не знал, точно ли пресечет. «Ладно, там увидим», — останавливали его мудрые друзья, не давая ему дохорохориться до клятвы.

И вот — это: гибельная, неразгаданная тьма над пустыней, ощущение ужаснейшей катастрофы, смрадный лабиринт в могильнике исчезнувшей цивилизации — после замечания Глебова, что кирпичи пахнут потом, Клинцова тоже стал доносить этот тошнотворный запах, — кучка обреченных дорогих ему людей, за которых он в ответе, — перед кем, перед кем в ответе? — общая для всех смерть и бегущая впереди нее смерть от руки выродка, маньяка, безумца, ужасная своей оскорбительной бессмысленностью: ч у ж о й убивает людей, которых судьба уже обрекла на смерть. Она же обрекла и его самого. Мертвые люди убивают друг друга — какое падение!.. Вот что ему выпало пресечь в последний свой час, Степану Клинцову.

Он постоял возле Сенфорда, прикоснулся к нему рукой, будто это могло еще что-то значить для его бесчувственного тела. «Но все-таки, — подумал Клинцов, — все-таки это прощание, Мэттью. Я не смогу тебя похоронить. Разве что потом... Но Золотой холм — и без того могила для нас».

Уже через час с небольшим Клинцов почувствовал такую усталость, что ранее избранная им тактика оказалась неприемлемой: он не мог больше, крадучись, двигаться по лабиринту — его доносила одышка и жажда, а сердце колотилось с такой силой, что в любую минуту могло остановиться, разорваться. И потому, едва оказавшись у входа в третий ритуальный зал, Клинцов сказал себе, что здесь остановится и будет ждать ч у ж о г о. Впрочем, ничего другого не оставалось: он действительно чувствовал себя плохо: у него ослабли ноги, кружилась голова, шумело в ушах, тошнило. Была, конечно, надежда, что после отдыха ему станет лучше, но надежда робкая, почти пустая: сознание подсказывало, что плохое самочувствие — не приобретенное, а истинное, возвратившееся, пробившееся сквозь препоны, поставленные Глебовым.

Клинцов устроился за горой кирпича, обрушившегося с потолка, под дырой, ведущей в верхнюю, белую башню, в нескольких метрах от того места, где был убит Селлвуд. Стоило ему лишь немного наклониться вправо, и он видел это место — там на желтой глиняной пыли осталась черная корка засохшей крови. Наклонившись вправо, он видел также вход в зал, откуда стрелял в Селлвуда ч у ж о й. Время от времени Клинцов посылал к входу луч света, который проникал в коридор, дробился и гас на его стенах. Иногда он произносил громко два слова: «Я здесь!» Свет и слова предназначались для ч у ж о г о: они, по предположению Клинцова, должны были завлечь его в этот зал. Иных средств вызвать на поединок ч у ж о г о у Клинцова не было.

Несколько раз Клинцов направлял луч фонаря в дыру на потолке и видел тогда другой потолок, по ту сторону дыры. Он отсвечивал голубоватой белизной, как подернутое высокой и легкой дымкой небо. Отчего это происходило, было не разглядеть. Можно было лишь догадываться, что потолок в верхней башне облицован голубовато-белой плиткой. Но для Клинцова теперь важнее была не эта догадка, а то, что сквозь дыру в потолке как бы проглядывало небо. И славно было еще то, что небо, пусть только кажущееся, было не ярко-голубым, не пронзительно синим, а белесым, как над землей его родины, над деревенькой, в

которой он рос. Повидал он на своем бродячем веку всяких небес, но только те — милы...

Как-то их деревенский учитель Савелий Витальевич — ах, какое изящное имя и отчество, будто птичка пропела! — преподал им, босоногой ребятне, первый урок философии. «Это главный вопрос философии, — вскидывая над головой руку с длинным и тонким указательным пальцем, радостно говорил он, пятясь перед их оравой по цветущему лугу, — это самый главный вопрос философии: что появилось прежде — материя или дух, природа или человек?» — «Известно, материя прежде, — смеясь, хватаясь от смеха за животы, орали они ему в ответ. — Ежели нет никакой материи, то отколь же взяться ее духу?!» После этих слов за живот от смеха схватился Савелий Витальевич. А когда насмеялся вдоволь, потребовал от него, от Клинцова, чтобы он закрыл глаза. Клинцов закрыл. Тогда Савелий Витальевич потребовал: «А теперь ответь нам, Клинцов, существуют ли луг, река, лес, небо и мы, раз уж ты ничего этого не видишь?» — «Существуют!» — закричал Клинцов, вертясь на одной ноге. «То-то же! — торжествуя произнес Савелий Витальевич. — Существуют! Существуют — и не в зуб ногой! Независимо от нас! От того, видим мы все это или не видим, слышим или не слышим! Было время, когда на земле не было людей, а земля существовала! Будет время, когда не станет людей, а природа будет сверкать своею вечной красотой!» — «А почему это людей не станет? — спросил Савелия Витальевича Клинцов. — Куда они денутся? Моя бабка говорит: пока стоят деревья — и люди будут стоять, пока не перевелись на земле цветы — и невесты не переведутся. А когда бог скажет: «Жизни конец!», тогда и небо пожелтеет, как мертвец». — «Боговерующий! — закричали на Клинцова его одноклассники. — Боговерующий!» А Савелий Витальевич ничего не сказал, сорвал цветок одуванчика и стал вертеть его возле губ — задумался. О чем думал тогда Савелий Витальевич? Не о том ли, что человек один с земли не уйдет, что он потащит за собой в могилу все живое, всю ее великую красу, что так обстоит дело с ее независимым существованием...

Плоть живет пищей, а душа — красотой. Омут под кручей в изгибе реки — страшная красота. Небесная ширь с белоснежными облаками — величественная красота. Луг в цветах — милая красота. Сад, осевший под грузом золотых и красных яблок, — щедрая красота. Зимнее утро, звенящее от голубого инея, — чистая красота. Журавлиный клин в осеннем небе — печальная красота. Скалистый утес над бурлящей рекой — гордая красота. Аленький цветочек, на все поле один — щемящая красота. Смеющаяся молодая женщина, бегущая навстречу солнцу по утренней росе — это Жанна... Тогда была жива еще его мать, они приехали в деревню навестить ее, показаться после свадьбы. Однажды утром Жанна сказала Клинцову: «Знаешь, я никогда не бегала босиком по утренней росе, хотя про это много раз читала. Пробегусь-ка я, а?» И она пробежалась по росистой лужайке за дворовой оградой, хохоча и охая. Все есть в женской красоте — и щедрость, и чистота, и веселье, и величественность, и гордость, и печаль, и то, что пугает и манит одновременно...

Отдохнув, Клинцов почувствовал себя все же бодрее: унялась одышка, успокоилось сердце. Стал обустриваться — сложил из кирпичей подобие бруствера, за которым можно было сидеть, не подвергаясь опасности быть убитым первым выстрелом. Метнул к выходу несколько кирпичных обломков, равных по весу толовой шашке — пристрелялся. Включал и выключал фонарик, выкрикивал слова «Я здесь!», нервничал от нетерпения, а точнее, от опасения, что ч у ж о й не придет или не скоро придет, а время уносит силы.

Итак, ч у ж о й — что Клинцов знает о нем? Прежде всего то, что он не имеет никакого отношения к их экспедиции, то есть в прямом смысле — ч у ж о й. Что

он появился вскоре после катастрофы и, стало быть, имеет к ней какое-то отношение: либо он ее жертва, либо один из ее виновников. Вооружен пистолетом или автоматом и отлично владеет им. Проник в башню, понимая или зная, что находится снаружи опасно для жизни. Убивает... Зачем? Господи, ну зачем же, зачем? Хочет один владеть лабиринтом, запасами пищи и воды? Если так, то, значит, намерен выжить, надеется, что выживет, но знает, что скоро покинуть башню не удастся, потому вся пища должна принадлежать ему одному. Связи с внешним миром не желает, иначе не стал бы уничтожать радиопередатчик и радиоприемники. Почему не желает? Потому, что никакого внешнего мира не существует? Но тогда радиопередатчик можно было и не уничтожать: если нет внешнего мира, то и связаться с ним нельзя. Стало быть, внешний мир существует и с ним можно связаться, но эта связь для ч у ж о г о нежелательна. Почему нежелательна? Он боится мира людей, потому что преступник, потому что явился сюда, уже будучи им. Не будь он преступником, он стремился бы как можно скорее связаться откуда только и можно ждать помощи и спасения. Преступнику нечего терять перед лицом внешнего мира и его законов, поэтому он убивает — продолжает совершать преступления.

Итак, преступник? А если отчаявшийся безумец? Почему бы и нет? Его мир погиб, в этой гибели виновны люди, все люди, которым он теперь мстит. Садист? Маньяк? Надежен лишь один ответ: он пришел из того мира, из которого мы сами, он его порождение — его преступления, его безумства.

Клинцов любил Селлвуда: в нем была глубина, которая завораживала и очаровывала. Он не обладал талантом памяти, его эрудиция была, пожалуй, не столь богата, как у других, но у него был несомненный талант реконструкции: по одной мысли, даже по обрывку мысли, он мог восстановить не все учение, может быть, но целую систему, которая уже могла претендовать на некоторую завершенность, — истинный талант археолога.

— Я здесь! — выкрикнул в очередной раз Клинцов и перевел луч фонарика вверх. Над ним снова засветился голубовато-белесый свод белой башни. И опять возникло прежнее чувство, будто он видит небо из глубокого колодца. Однажды — это было в юности — он намеренно спустился в колодец, чтобы увидеть на дневном небе звезду. Не верил в такую возможность, но старики говорили, что из глубокого колодца звезды на небе можно увидеть и днем. Ничего не увидел, как ни напрягал зрение. Сказал об этом огороднику, в чьих владениях был колодец.

— Все правильно, — ответил ему огородник. — Потому что все выдумка, сказка.

— Зачем же сказка? — спросил Клинцов.

— А для смелости, для красоты. Вот ты, может быть, и побоялся бы спуститься в колодец просто так, но красота поманила, то есть звезда. Ты спустился и победил страх. А всякий страх, сынок, надо вытравлять из души, потому что страх — гнусная штука. Вот и не осуждай никого за сказку, лучше спасибо скажи.

Огородник был родственником Клинцова, его двоюродным дядей. Клинцов гостил у него в то далекое студенческое лето несколько дней. Все дни проводил на огороде, подкармливался после скудных студенческих харчей, набирался витаминов, как говорил дядя. И выпитывал всеми порами земную благодать: жил среди влажных грядок с буйной помидорной и огуречной ботвой, среди наполненных водой канав, поросших сочной щирцей, в которой водились лягушата, спал среди кукурузы, шелестящей при набегах теплого ветра широкими упругими листьями, валялся на теплой взрыхленной земле, топтал ее босыми ногами, лакомился пупырчатыми огурчиками, горячими от солнца томатами, луковыми, очищенными острой стекляшкой, стрелками, хрусткой молодой

морковкой, а то забредал в пасленник и просиживал там часами, всасывая из горсти черные сладкие ягоды. Пил холодную, прозрачную, как воздух, воду, ложась на живот у широкой зацементированной ямы. Вода, добытая из земных глубин, с гудением падала в эту яму из трубы, вертелась в пенной воронке и, расходясь спиралью, успокаивалась, тяжелая, чистая, жизненосная, уходила по главной канаве под густые вербы, под стройные тополя, которыми были обозначены границы огорода, и дальше — на грядки, поя их и остужая. Пить ее прилетали птицы, запрокидывали у таких канавок клювики, лакали ее осторожные лисы, красноглазые ужики бесшумно и бесстрашно скользили по зеркалу залитых грядок в теплом и ароматном травяном и земляном настое. А в заморных горячих лужицах кишмя кишели головастики — странные, смешные существа, которых так боялись девчонки из огородного звена... Как сладко было там жить! Как нравилось телу все, что к нему прикасалось в том раю! Ну не рай, ну земная благодать, как сказал дядя. Так она и была благодатью, данной во благо всему и вся. И такой-то благодати более нет? Ради чего же утрачена она грешной землей? Или тяжел для нее стал человек? Или человеку были тяжелы его праведные труды?

Конечно, терзал землю своим неразумием неумный человек. Но и разум был дан ему, чтобы остановиться, чтобы осмыслить свое земное и космическое предназначение. Это же было видно всем: мировые константы — причина и предпосылка неизбежного возникновения разума. Разум был нужен Вселенной, она ждала и лелеяла его, чтобы осознать себя, найти в себе еще более грандиозное будущее, положить его как цель и устремиться к ней с помощью человека. Ошиблась Вселенная? Что-то было не учтено в соотношении страстей и разума человеческого? Нарушилась какая-то константа? Бред! Это бред: мировые константы незыблемы. И разум не мог войти в противоречие с ними, потому что он — и есть его высшая константа. Все же страсти ничтожны, если осознано высшее. И ведь осознано, черт возьми!..

Но ч у ж о й сказал перед тем, как выстрелить в Селлвуда: «Мне было интересно послушать. Но это были запоздалые мысли». Запоздалые? Не всё было додумано до конца в нужный час? Или не все додумали всё до конца? Не все или не всё? Не все. И в руках этих не всех оказалось оружие уничтожения. В неммыслящем мозгу вырвалась катастрофа. Вот ошибка людей и Вселенной — неммыслящий мозг. А девчонки из огородной бригады боялись головастиков...

Немыслящий мозг весь обращен к самому себе, к своему комфорту, к своему эго — в самом себе замкнутый мозг, слепой, глухой, самодовольный, лишенный сострадания, мозг-потребитель, мозг — паразит, вызревший в болоте социальной вражды и застоя. Следовало быть беспощадным к нему там, где он претендовал на власть с помощью силы и софизмов. Все было додумано до конца, но не все доделано, потому что и сила была у неммыслящих, и софизмы их были коварны: один раз живем — будем развлекаться, все равно умрем — можно и на войне, Христос терпел — и нам велел, после нас — хоть потоп. Они пожирали человеческое время — развлечения, войны, безгласность и бездумность.

И потому, быть может, был упущен шанс... Вся вина на них, на неммыслящих. Только перед кем же теперь объявить их вину?

— Я здесь! — выкрикнул Клинецов. Голос ушел без эха, тишина схлопнулась мгновенно, как схлопнулась тьма, едва Клинецов выключил фонарик.

Беспокойство его все усиливалось и наконец достигло предела: он окончательно понял, что не дожидется ч у ж о г о, если останется здесь, что надо идти, надо искать, иначе будет упущен последний шанс. Он еще раз взглянул вверх, направив луч фонаря в потолочную дыру. И едва не вскрикнул от изумления: на голубовато-белом своде вспыхнула яркая зеленая звезда. Потом,

покачав фонариком, Клинцов увидел, что звезда загорается лишь тогда, когда луч света падает на нее под определенным углом, и мгновенно гаснет, как только этот угол меняется. Звезда была, увы, не настоящая. И все-таки, и все-таки звезда — прощальный подарок белой башни...

Ирина, устав от его поцелуев, отодвинулась от него, шлепнула по его бессовестным рукам кукурузным стеблем и сказала, глядя в небо:

— Вон звездочка, голубая с зеленым проблеском. Как она называется?

— Не знаю, — ответил он.

— А вон та, другая, с оранжевым лучиком, которая левее, — как называется?

— Тоже не знаю.

— А я знаю, — засмеялась Ирина. — Первая звездочка зовется Степой, а вторая — Ириной. Так они вечно будут одна возле другой...

Ирина была его первой женой. Она умерла во время родов.

Почему же вспомнилось это? Не потому ли, что он считал себя виновным в смерти Ирины?

...Воздух после полуночи стал прохладным, а земля оставалась теплой до утра...

Клинцов сделал шаг и снова провел лучом по верхнему своду. Звезда вспыхнула оранжевым светом...

Он уже вышел из зала и был в переходе, соединявшем зал с лабиринтом, когда увидел вдруг впереди себя собственную тень — кто-то сильным лучом осветил его сзади, из зала.

— Не оборачивайся! — потребовал голос, который Клинцов сразу же узнал — это был голос ч у ж о г о.

Клинцов остановился и плотнее прижал большой палец к рычажку зажигалки, которую Холланд приспособил в качестве запала к толовой шашке.

— Ты можешь спросить меня о чем-нибудь, — предложил ч у ж о й, — у тебя есть еще несколько секунд.

Клинцов услышал за спиной приближающиеся шаги. Он мог бы обернуться, но не увидел бы ч у ж о г о, потому что его ослепил бы свет мощного фонаря. К тому же, обернувшись, он вынудил бы ч у ж о г о остановиться, а надо было, чтобы он подошел ближе, чтобы он оказался в переходе, чтобы граната взорвалась у его ног.

— Ну, ты ни о чем не хочешь меня спросить? — ч у ж о й остановился шагах в десяти — для Клинцова этого было достаточно. — Твои друзья были любознательнее.

— Кто ты? — спросил Клинцов.

— Никто, — засмеялся ч у ж о й. — Вы все начинаете с одного и того же вопроса.

— Зачем ты нас убиваешь?

— Из сострадания, — ответил ч у ж о й. — То, что вы узнаете позже, будет страшнее и мучительнее смерти.

— Что же это? — спросил Клинцов.

— Ничто! — ответил ч у ж о й и выстрелил.

Падая, Клинцов успел нажать на рычажок зажигалки. Шипящее пламя бикфордова шнура обожгло ему пальцы.

Грохнул взрыв. Проход обрушился многотонной грудой кирпича, завалившей вход в зал и погребшей под собой Клинцова.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Повар Омар умер, не приходя в сознание. Саид заявил, что не станет хоронить отца в башне, где бесчинствует аш-шайтан, что похоронит его на холме рядом с Ахмадом.

— Он требует, чтобы мы его выпустили из башни, — сказал Глебов. — А также просит дать ему одно одеяло, в которое он мог бы завернуть труп отца. Думаю, что ему надо дать также противогаз, плащ и фонарь, — добавил от себя Глебов. — И, конечно же, надо выпустить его из башни.

— Пусть идет, — сказал Холланд. — Спросите, однако, его, — попросил он Глебова, — намерен ли он вернуться. И объясните ему, что выходить опасно.

Глебов переговорил с Саидом.

— Да, он знает об опасности. Да, он вернется, чтоб отомстить аш-шайтану за смерть отца.

— Час от часу не легче, — вздохнул Холланд. — А справится ли с похоронами он один?

Глебов перевел вопрос Холланда. Саид ответил, что справится, что должен похоронить отца сам.

До выхода из штольни Саида, несшего перед собой на руках труп отца, сопровождал Холланд. У завала он выдал Саиду плащ и противогаз, открыл лаз и помог протащить через него завернутое в одеяло тело Омара. Фонарь Саид не взял: снаружи было светло, правда, не так, как обычно в эту пору — по времени солнце находилось почти в зените, — а так, будто уже наступил хмурый вечер. Холланд не знал, насколько можно было радоваться этому, но все же это была перемена, а всякая перемена — шаг к чему-то другому, быть может, к лучшему. Холланд не вытерпел и выполз наружу со счетчиком Гейгера. Ему показалось, что счетчик стал вести себя спокойнее. Он вернулся в штольню и закупорил лаз, но не так основательно, чтоб Саид не смог открыть его сам. Поспешил в башню с приятной вестью. Но у собачьей конуры остановился, достал из нее две толовые шашки — по числу имевшихся у него детонаторов. Потом взял еще несколько штук, сообразив, что можно сделать две связки шашек огромной разрушительной силы. Сразу же вставил детонатор в одну из шашек и почувствовал себя увереннее: теперь он был вооружен и встреча с ч у ж и м не грозила обернуться для него безусловной гибелью.

Итак, снаружи кончилась ночь, счетчик Гейгера начал, кажется, успокаиваться, есть оружие против ч у ж о г о — все это обнадеживающие факты. Если к тому же Клинцову удастся его охота на ч у ж о г о — должна удалиться, черт возьми! — можно будет вздохнуть с облегчением. Впрочем, по-прежнему остается одна неизвестная величина в обеих частях уравнения, где сумма фактов должна означать величину надежды. Эта неизвестная величина — доза облучения, которую он получил. Если она смертельна, то его личная надежда при любых положительных фактах останется равной нулю. Пока он чувствует себя сносно, хотя уже есть признаки того, что настала пора обратиться за помощью или за консультацией к Глебову. Сносно то, что есть. Но что будет?

Надо было похоронить Сенфорда. Холланд понимал, что теперь, когда нет рядом Клинцова, это его забота и что сделать это он должен один. Нельзя было допустить, чтобы все снова лицезрели смерть. Такие удары, нанесенные один за другим, способны подкосить душевные силы даже сильного человека. К тому же все один раз уже пережили смерть Сенфорда, когда Клинцов выкрикнул из лабиринта: «Сенфорд убит!» Выкрикнул и ушел... Почему никому не показался? Боялся, что не устоит перед мольбами жены или, что у самого не хватит потом

сил вернуться в эти смрадные крысиные норы?

Странно, но прежде Холланд не ощущал здесь никакого особенного запаха, теперь же все время кажется, что пахнет солдатской казармой, в которой рота только что сняла башмаки. Не от этого ли его тошнит? И не оттого ли, что его тошнит, чудится ему этот запах? Надо пожаловаться Глебову и попросить у него какой-нибудь микстуры. Хорошо бы выпить русской водки, но водки давно нет, и Филиппо теперь вряд ли привезет даже в том случае, если все-таки прилетит...

Холланд миновал поворот к убежищу, пошел прямо — туда, где по его предположениям следовало искать Сенфорда. Он шел с включенным фонарем, лишь краешком сознания опасаясь встречи с чужим, считая, что чужой теперь охотится за Клинцовым. Очужом Холланд думал просто: какой-то малый спятил от страха и теперь палит в любую движущуюся мишень. Он видел таких спятивших парней в джунглях Вьетнама. За ними тоже приходилось охотиться, потому что они палили в любого — и во врага, и в своего. Одного такого малого Холланд лично уложил, получив от него на память пулю в бедро.

Сенфорда Холланд увидел издали и подошел к нему, не замедляя и не ускоряя шага, словно это было привычное дело — подходить к убитым. Осветил лицо Сенфорда, взгляделся в рану на лбу, присвистнул.

— Хорошую же пулю ты поймал, парень! — проговорил он. — Толщиной с майского жука. Для такого маленького лба — такая большая пуля!

Холод уже сковал мышцы Сенфорда, он превратился в неудобную ношу. Пришлось волочить его ногами по земле, пятась, с перерывами, чтобы осветить путь, не пройти мимо ниши, в которой Холланд решил замуровать Сенфорда.

Все это дело не отняло бы у Холланда много времени, если бы не пришлось перетаскивать к нише и кирпичи, возле которых был убит Сенфорд, — других кирпичей, чтоб замуровать нишу, поблизости не нашлось. Он сделал все хорошо. Кирпичи засыпал сверху глиной, чтоб не осталось щелей, а уже поверх глины выложил из кирпичных осколков крест, имя, фамилию и дату смерти Сенфорда.

— Я не злопамятный, — приговаривал он, занимаясь этой работой. — Ты назвал меня вьетнамским бандитом, Мэттью, но я тебе это прощаю: у тебя был слишком подвижный язык, слова из тебя выскакивали прежде, чем ты успеваешь подумать. Это простительный грех. Всяких соображений в твоей башке было тьма — и глупых, и умных. Но вообще-то ты был парень ничего. И даже смелый, как оказалось. Только вот насчет Жанны ты ляпнул зря: дескать, пусть на переговоры с чужим пойдет Жанна. Честное слово, это было не по-мужски. И я мог бы тебе за это действительно, проломить башку, если бы ты настаивал на такой невероятной глупости. Хорошо, что драки не произошло. Впрочем, тебе и так досталось, твоей бедной башке: ты поймал здоровую пулю, Мэттью. Я даже не знаю, из чего чужой ее выпустил — прямо калибр зенитного пулемета. Все уже знают, что ты убит. Все тебя жалеют. И мне тебя жаль, Мэттью. Но, может быть, и ты нас еще пожалеешь... Последние слова покоробили его самого: он еще никогда не опускался до такой сентиментальности. Значит, подумал он, в нем уже тоже есть то, что возбуждает мрачные предчувствия. Прежде он никогда не был склонен к рефлексии, к разболтанному самокопанию. И если такое все же случилось с ним, то дело его худо. Нет, надо взять себя в руки, решил он, и думать лишь о вещах простых и очевидных.

— Потери большие, как на войне, — сказал он, осветив могилу Сенфорда перед тем, как уйти. — Так и будем считать: идет война. А война, Мэттью, не такое уже необычное дело, если подумать. Скорее, обычное. Отвратительное, но обычное. И потому я не буду рвать на себе волосы от горя. Мне просто тошно, Мэттью. Извини. Кстати, есть и приятная новость: снаружи рассвело и снизилась радиация. Если бы ты был жив, ты смог бы оценить это. Но тебе все равно. Как и

мне, кажется...

«Опять!» — с раздражением подумал Холланд, презирая себя за это соскальзывание к сентиментальности. Соскальзывание и вообще-то раздражает, особенно, когда идешь по узкой тропе среди болота или по мокрому бревну над гниющей и булькающей жижей... Эта бывшая вьетнамская реальность давно стала его навязчивым сном. И вот — снова реальность: теперь соскальзывает его мысль, дух, а это, пожалуй, опаснее. Из болота в конце концов можно выбраться, но можно ли выбраться из бездны? Это соскальзывание — в бездну...

По правде говоря, ему давно уже все равно. С той самой поры, как организация солидарности с вьетнамскими женщинами прислала ему к его пятидесятилетию пачку фотографий, на которых были сняты дети-уроды, родившиеся там, где «поработали» в свое время военные химики, он сам. Он бросил тогда фотографии в камин и долго смотрел, как они, корчась, горели. Вместе с ними корчилась его душа. Он понял тогда, что если до сих пор смерть искала его, то отныне он сам станет искать свою смерть, что он уже начал умирать, что палачи его уже приближаются, а ему все равно, потому что он виновен, сам признал себя таковым.

Холланд вернулся в убежище и был встречен тревожным вопросом:

— А где Ладонщиков? — спросил его Глебов. — Почему он не с вами?

— Но почему он должен быть со мной?! — удивился Холланд.

Оказалось, что вскоре после ухода Холланда и Саида, Ладонщиков стал проситься в штольню, обещал принести воды, клялся, что вернется вместе с Холландом, объяснил свою просьбу тем, что ему необходимо пройти, размяться, что он устал от неподвижности и безделья, что у него выкручиваются руки и ноги, отчего он сатанеет. Вальтер и Жанна возражали, но Глебов отпустил Ладонщикова, сказав, когда студент ушел:

— Он нуждается не столько в том, чтобы размяться, сколько в том, чтобы мы поверили ему. Он должен доказать нам, что больше не убежит, что он вполне овладел собой, что в нем есть воля, способная подавить инстинктивный страх, исправить изъян психики.

— Черта с два, — ответил Глебову Вальтер. — В лучшем случае — он хитрит: усыпит нашу бдительность, мы поверим ему, он попросится в штольню еще раз и убежит. В худшем случае — он убежит теперь же.

Холланд вернулся без Ладонщикова. Это означало, что прав Вальтер.

— Проклятие! — выругался Холланд. — Но я не Клинцов, я за этим сопляком не побегу. Если ему захотелось умереть, пусть умирает.

Какое-то время все молчали.

— Конечно, — сказал Холланд, — я пойду и проверю, точно ли он сбежал. Возможно, что он сидит у лаза и ждет меня или Саида. Приказываю: никому, черт возьми, не покидать убежище! Я же скоро вернусь.

У лаза Ладонщикова не оказалось. Люк был вставлен иначе, чем это сделал, выпустив наружу Саида, Холланд. В нише недоставало одного противозага и плаща. Исчезла также канистра, которую Вальтер держал с водой у пульта станции на всякий случай. Из всего этого не трудно было сделать вывод, что Ладонщиков сбежал.

— Все-таки удрал! — произнес вслух Холланд. — Чтоб ему провалиться, сосунку проклятому! — Холланд очень надеялся, что найдет Ладонщикова в штольне и что ему не придется гоняться за ним по барханам, спасать кретина, который не хочет жить. Ему никак не давалось понимание того, почему Ладонщиков, молодой и здоровый парень, не хочет жить. Ведь не гонит же его к гибели страх смерти? Тут — полный абсурд, бессмыслица: бежать от одной смерти к другой. Конечно, есть более мучительная смерть и менее мучительная.

Когда нет выбора, когда впереди только смерть, стараются выбрать легкую. Но кто сказал, что в пустыне умереть легче, чем в башне? В полном одиночестве легче, чем в кругу друзей? И кто сказал, что выбор между башней и пустыней — это выбор между мучительной и легкой смертью, а не между жизнью и смертью. Пустыня — верная смерть, башня оставляет человеку надежду. Кретин! Сопляк! Жестокий мальчик, который тонет только ради того, чтобы утонул его спаситель...

Холланд надел плащ и противогаз и выполз наружу. На песке перед входом в штольню было уже много следов — наружу после бури выходил Клинцов, выходил он сам, Холланд, вышел Саид и теперь — Ладонщиков. Определить, какие следы принадлежали Ладонщикову, было невозможно. Холланд выбрал один след наугад, дошел по нему до колодца и понял, что это след Клинцова. Другой след, глубокий и свежий, вел на холм. Несомненно, что этот след оставил Саид, который прошел здесь недавно с тяжелой ношей на руках. Возможно, что по этому же следу ушел Ладонщиков. Холланд поднялся на холм и увидел Саида. Саид стоял у могилы отца и, казалось, не замечал Холланда до того самого момента, пока Холланд не подошел вплотную к нему и не положил ему руку на плечо. Саид кивнул головой и положил свою руку поверх руки Холланда. Холланд ни о чем не мог спросить Саида: он не знал его языка. Саид же не знал языка Холланда. Разумеется, Холланд мог бы попытаться спросить у Саида с помощью жестов, не видел ли тот Ладонщикова. Он даже собирался это сделать, пока не подумал о том, что Саид, если бы он видел Ладонщикова, сам постарался бы ему об этом сказать, поскольку понимал, что бегство из башни — это бегство к смерти. Холланд оглядел с холма окрестности. Было светлее, чем в тот раз, когда он впервые выбрался из штольни. На западной части небосклона светилось огромное желтое пятно, за которым угадывалось солнце. Холланд видел барханы, простирающиеся до самого горизонта, видел сухие кусты, замершие неподвижными темными точками там и сям, но среди них не было ни одной движущейся точки, даже колеблющейся.

— Ладонщиков сбежал, — сказал Холланд, — студент, — и махнул рукой в сторону пустыни.

— Да, — ответил Саид и закивал головой.

— Ты понял меня? Ты понял, что сбежал Ладонщиков, русский студент?

— Да.

— И ты не видел его? — Холланд показал на свои глаза и на пустыню. — Не видел?

— Нет, — ответил Саид.

Попытка продолжить разговор с Саидом ни к чему не привела: он знал только эти слова — «да» и «нет». Пришлось снова перейти на язык жестов.

«Пора возвращаться в башню», — объяснил Холланд Саиду жестами. И вообще-то объясняться с помощью жестов было безопаснее, так как при этом не надо было снимать противогаз.

Саид, казалось, согласился, но едва Холланд взял его за руку, стал упираться. Тогда Холланд обхватил его за плечи и силой потащил с холма. Саид отбивался так яростно, будто Холланд тащил его не в убежище, а на казнь, хрипел и выл, несколько раз пытался боднуть Холланда в лицо и, наконец, изловчившись, ударил его ногой в пах. Холланд выпустил его и шлепнулся на песок, корчась от боли. Саид бросился наутек.

Все это было так нелепо и дико, что Холланд не сразу сообразил, куда убегает Саид. Превозмогая боль, разъярясь от злости и недоумения, Холланд бросился было за ним, но вдруг понял, что Саид бежит к штольне. Какое-то время он еще продолжал гнаться за ним, но когда увидел, что Саид с проворностью песчаной

ящерицы нырнул в лаз, остановился, сорвал с себя противогаз и захохотал, не в силах сдержать в себе этот истерический смех. Было ясно, что Саид по-своему истолковал разговор на холме, что он понял все так, будто Холланд сначала предложил ему уйти в пустыню, а потом попытался уволочь его туда насильно.

— Проклятие! — выругался Холланд, уняв смех, и надел противогаз. Теперь ему оставалось одно из двух: либо вернуться в башню вслед за Саидом, либо попытаться еще раз обнаружить следы студента. Первое означало, что студент будет окончательно обречен на гибель в песках, второе — что он сам, Холланд, приблизит свою смерть, барахтаясь в гибельных лучах взбесившихся атомов.

Холланд выбрал второе. Он лишь на минуту вообразил, что вернется в башню без студента, не сделав всего, что было возможно сделать для его поиска, представил себе угасшие от печали и презрения к нему, к Холланду, лица друзей и тут же сказал себе, озлобляясь на судьбу, что лучше умрет в пустыне, чем вернется в башню без Ладонщикова. Решив так, он испытал неожиданное облегчение. Это было, наконец, решение его участи, осознание приговора, который обжалованию не подлежит. Это была долгожданная определенность.

Еще минуту назад он ненавидел студента, а теперь ненависть улеглась. Ему подумалось, что он даже понимает его, нетерпение Ладонщикова пробиться к определенности даже ценою жизни, причину его побега из башни. Поняв, он простил его, как прощают единомышленника. И даже больше — как прощают живущих стоящие у могильной черты... Беспокоило лишь одно: если он найдет студента, то все-таки придется вернуться в башню. Но беспокойство это было запоздалым, потому что втайне от этого умственного, логического беспокойства он уже решил, что даже и в том случае, если найдет Ладонщикова, не станет уговаривать его вернуться в башню, а пойдет с ним. Рядом с ним или следом за ним — все равно.

Он спустился с холма к входу в штольню, чтобы еще раз осмотреть следы и постараться найти среди них след Ладонщикова, хотя наверняка знал, что осмотр этот ничего ему не даст. Оказавшись у лаза, заглянул в него и увидел, что лаз заперт изнутри. Мысленно похвалил Саида и окончательно убедился в том, что Саид истолковал их разговор на холме превратно, иначе не стал бы запирает лаз: ведь Холланд бежал следом за ним и должен был оказаться у лаза через две-три минуты. То, что подумают о нем в башне после рассказа Саида, Холланда не волновало. Он знал, что Саиду не поверят, будто он, Холланд, хотел увести его в пустыню — такое желание могло бы возникнуть только у сумасшедшего. Впрочем, совсем неважно, что о нем подумают в башне теперь, потому что он об этом никогда не узнает... Тот же факт, что он не вернется, также не будет объяснен в пользу предположений Саида. Скажут: он погиб в пустыне, спасая студента Ладонщикова.

Как Холланд и предполагал, осмотр следов ничего ему не дал. Но с этого все же следовало начать. Теперь предстояло обойти холм вокруг и посмотреть, нет ли следов, ведущих от холма в пустыню. Ими могли быть только следы Ладонщикова. Если и в этом случае следы Ладонщикова найти не удастся, Холланд намеревался увеличить радиус окружности, по которой он обойдет холм во второй раз, и обнаружить следы беглеца непременно.

Конечно, ничего этого можно было бы и не делать, ничего не искать, если уж он сам решил не возвращаться. Но эта простая мысль почему-то не приходила ему в голову. Скорее всего потому, что не все было додумано им до конца, не все решено, что изначальная жажда жить во что бы то ни стало гасила в его мозгу эту мысль, оставив за собою право изменить решение, если ей удастся совладать с умиранием или в том случае, если изменятся обстоятельства. А они, эти обстоятельства, могут измениться совершенно неожиданным образом: ведь

можно же предположить, что Ладонщиков сам попросит Холланда о помощи и что отказать ему в такой помощи будет преступно; что Ладонщиков, увидев Холланда, изменит вдруг свое решение таким образом, что станет жертвовать собой ради безопасности Холланда... Нечто, неотделимое от Холланда, учло все это и избавило его от необходимости додумать все до конца, от окончательного решения, вопреки которому невозможно принять даже правильное решение.

Холланд отправился на поиски следов Ладонщикова, огибал холм, шагал по девственному песку, нанесенному ветром, проваливался в нем по колено, чертыхался, поглядывал на холм, избегая всякий раз взглядом к его вершине, на тот случай, если Ладонщиков окажется вдруг там среди редких кустов и заброшенных раскопов. Он был уже у противоположного склона холма, когда вспомнил, что студенты Ладонщиков и Кузьмин проводили на этом склоне самостоятельные раскопки, и подумал, что надо искать Ладонщикова там, что он мог схорониться там в ожидании ночи, хотя, конечно, дурак, если это сделал, — ведь мысль о том, что он в своем раскопе, могла прийти и не в такую сообразительную голову. Карабкаться вверх по склону Холланду не очень-то хотелось, и он решил, что пройдет еще шагов пятьдесят-шестьдесят и уж потом, если не наткнется на след студента здесь, внизу, поднимется к раскопу.

След начинался с песчаного сугроба, наметенного у подошвы холма и упировавшегося длинным ребристым мысом в выветренный твердый склон. След был сначала глубокий, с широкой вмятиной от падения — Ладонщиков сбежал по крутому склону, увяз с разбега в песчаном сугробе и упал — дальше — ровный, обыкновенный, когда нога увязает в песке не глубже, чем по щиколотку, и вел к западу, в сторону желтого пятна на затянутом пыльной мглой небосклоне. Холланд пробежался взглядом по цепочке следов до конца — едва различимые, они исчезали на гребне дальнего бархана — и никого не увидел: Ладонщиков был недосыгаем. Это было обидно: в Холланде уже разгорелся азарт погони, он надеялся догнать студента, теперь же это стало невозможным. Обидно стало еще и потому, что придется идти за студентом, зная о том, что его уже не догнать. Следы Ладонщикова будут вести его, а он, Холланд, мог бы идти сам. Обидной была эта зависимость. К тому же зависимость не от сильного духом и мудрого человека, который все додумал до конца, а от мальчишки, который очумел от страха и помчался в пустыню очертя голову. Но не идти по следам Ладонщикова Холланд не мог: образ нуждающегося, молящего о помощи и покинутого им на произвол судьбы студента витал бы в его угасающем мозгу до последнего момента, быть может, рядом с образами детей-уродов, фотографии которых он сжег... То была бы не смерть, а казнь. Казни же себе Холланд не желал.

Холланд не захватил с собой фонарь, и это означало, что с наступлением темноты он потеряет след Ладонщикова и должен будет либо остановиться, либо идти наугад, уже не по следу. Это вынуждало его торопиться. На глинистой проплешине он даже пустился бегом, не очень заботясь о том, есть ли перед ним следы Ладонщикова, полагая, что и Ладонщиков предпочел идти по проплешине, где ноги не тонут в песке. Действительно, едва кончилась глина и начался снова песок, Холланд нашел следы студента. Оказавшись на вершине очередного бархана, он оглянулся, чтобы увидеть, далеко ли он уже от Золотого холма. Холм был еще виден, но уже не так четко, как несколько минут назад — контуры его почти сливались с мглисто-желтым фоном пустыни. У Холланда защемило под сердцем: ведь он не просто удалялся от Золотого холма, он удалялся, уходил от людей. Уходил в безлюдье, в пустоту, в ничто. В этом вдруг обнаружилось так много печали, что впору было заплакать, Холланд не заплакал. Он резко отвернулся и устремился по следу Ладонщикова быстрее прежнего, хотя мысли его оставались обращенными к холму.

Там не лучше, думалось ему, далеко не лучше, там к одному страху прибавляется другой, к твоей беде — чужая беда, к твоему скрытому или явному отчаянию — скрытое или явное отчаяние всех. К бегству студента Ладонщикова вынудила не просто клаустрофобия, как определил его психический изъясн Глебов, а неспособность устоять под тяжестью общей беды, общего отчаяния, потому что они — беда и отчаяние без надежды, усугубленные сознанием того, что ты бессилен помочь кому-либо, а это — страдание от собственной ничтожности, которому нет предела. Оторвать свою беду от общей и тем уменьшить общую — единственный достойный шаг, но и возможность облегчить личную участь — остаться только со своей бедой, своим отчаянием.

Придя к этой мысли, Холланд подумал, что в его рассуждениях есть какой-то просчет, так сам собой напрашивался вывод: все должны покинуть Золотой холм и разбежаться по пустыне. Как Ладонщиков. И как бежит сейчас он, Холланд. Впрочем, он еще не бежит, он только преследует беглеца. Так где же он допустил просчет? Холланд знал где, хотя не торопился признаться себе в этом: вывод о том, что все должны разбежаться по пустыне, гипнотизировал его своей абсурдностью. Абсурден, но не банален. Да и так ли уж абсурден? — Если нет надежды на спасение, то не все ли равно, как встретить свой конец — обнявшись друг с другом или разбежавшись по пустыне? Холланд хитрил. Он знал, что не все равно, как люди встречают свою гибель: если обнявшись, значит, верят в победу того, ради чего погибают; если разбегаются по пустыне, значит, прокляли то, что их объединяло в жизни.

И вот просчет в его рассуждениях: каким бы отчаянным ни было положение, какой бы тяжелой ни была беда, даже самый слабый человек перед ней не бессилен, не ничтожен — ему достаточно оставаться живым, чтобы заражать жизнестойкостью других, а жизнестойкость — это сила, способная сломать хребет любому несчастью.

Гряда высоких, вздыбленных барханов обрывалась перед каменистой пустыней подобно океанским волнам, замершим у кромки берега. Холланд сбежал по текучему песку на кремнистую твердь и остановился. Желтое околосолнечное пятно висело впереди, уже касаясь горизонта. От рассыпанных по пустыне камней ложились серые тени. Было похоже на то, будто все камни хвостаты, будто неведомые существа ползут по пустыне в сторону солнца, к закату, гонимые настигающими их барханами. Но движения не было. Так все это могло бы выглядеть на фотографии, где движение лишь предполагается, угадывается. И вдруг Холланд увидел действительнодвигающийся предмет, темную вертикальную черточку, которая колебалась на фоне желтого пятна. Холланд оттянул от лица противогаз и протер затекшие потом глаза. Теперь он видел четче и дальше. Сомнений быть не могло: черточка колебалась.

«Это студент! — сказал себе Холланд. — Слава богу, я догоню его!»

Он побежал, перепрыгивая через камни, вспоминая добрым словом капрала, который приучил его бегать с противогазом на лице. Холланд понимал, что погоня имеет смысл, пока над горизонтом висит желтое пятно и пока на его фоне маячит силуэт студента. А до заката оставалось не так уж много времени — по подсчетам Холланда, пятнадцать-двадцать минут. К тому же в любую из этих минут студент мог изменить по какой-либо причине направление пути и соскользнуть с желтого пятна. Надо было торопиться. И Холланд бежал, не щадя сил, хрипя и обливаясь потом. Краем глаз увидел, как за ним бросилась игуана, как метнулся от него в испуге шакал, как соскользнула с камня, через который он перепрыгнул, змея. Какая-то птица с криком взлетела у него из-под ног, обронив перья. Но все это только разжигало в нем страсть погони. Когда же колеблющаяся черточка впереди разрослась до размеров и форм, в которых уже без труда можно

было разглядеть фигуру идущего человека, идущего, прихрамывая, медленно и тяжело, у Холланда появилось почти неодолимое желание сорвать с себя противогаз и закричать. Но он сдержался, подумав, что крик не только не остановит Ладонщикова, но вызовет совсем противоположную реакцию, и Ладонщиков побежит — от испуга или от глупого расчета, будто у него есть еще шанс уйти от погони.

Странно, но Ладонщиков не только не слышал, но и не чувствовал, толстокожий чурбан, что Холланд настигает его. Оглянулся лишь тогда, когда их разделяли несколько метров и когда Холланд уже перешел с бега на шаг, чтобы отдышаться перед встречей. Ладонщиков оглянулся и замер, будто его поразило током. Остановился и Холланд.

— Не узнаете? — спросил Холланд, приподняв противогаз.

Ладонщиков узнал его, обмяк и опустился на камень. Холланд подошел к нему и опустил руку на плечо. Надо было отдышаться и поэтому он не торопился с разговором. Вытер платком лицо, отпил несколько глотков воды из фляги.

— Опять, — приговорил обреченно Ладонщиков. — Зачем?

— Надо, — коротко ответил Холланд. — На-до!

Холланд сел на камень против Ладонщикова и протянул ему свою флягу. Ладонщиков отрицательно покачал головой и постучал носком ботинка по канистре, стоявшей возле него.

— Понимаю, — сказал Холланд. — Хватило бы на несколько дней пути.

— Да, — ответил Ладонщиков.

— А что в конце пути?

— Все равно.

— Это не ответ. Правде надо смотреть в глаза: в конце пути — смерть.

— Пусть.

— Смерть умножает силы смерти. Живым станет труднее.

— Она и так всеильна, — сказал Ладонщиков. — Посмотрите вокруг: мертвое небо, мертвая земля. Я видел погибших животных — всюду валяются смердящие тушки.

— Я видел живых животных. Смерть не всеильна. Любая жизнь умножает силы жизни. Живым нужны живые. Так им легче. А вы удрали, Ладонщиков. Вы идете в объятия смерти, предаете живых.

— Но я уже мертв! — закричал Ладонщиков, отбросив противогаз.

Холланд встал, поднял противогаз и вернул его Ладонщикову.

— Наденьте! — приказал он ему. — Ведь вы для чего-то надели его, уходя из башни. Неужели только для того, чтобы умереть в противогазе?

Ладонщиков подчинился, буркнув что-то в ответ.

— Посидим еще пять минут и двинемся обратно, — сказал Холланд. — Надо торопиться, чтобы засветло дойти до барханов и найти наши следы. Дальше пойдем с вашим фонарем, Ладонщиков. Вы молодчина, что захватили фонарь — он нас здорово выручит.

— Не болтайте так много, — посоветовал ему Ладонщиков. — Дышите через противогаз.

Холланд засмеялся.

— Дельное замечание, — сказал он. — Очень дельное, — и надел противогаз.

О себе Холланд подумал: за него все решила судьба. Конечно, если бы он не догнал Ладонщикова, то не вернулся бы. Один он не вернулся бы. Да и стыдно было бы вернуться одному, потому что сказали бы: «Плохо искал. Сам вернулся, а мальчишку бросил». Но он все-таки догнал его, косолапую дылду. И это стоило ему немалых трудов. Было бы смешно, если бы он теперь предложил ему, этому сосунку: «Пойдем дальше, умрем вместе». Сосунок, конечно, пошел бы, но что

подумала бы при этом его дурья башка? Она подумала бы, что он, Холланд, тоже трус и даже хуже, потому что не решился на побег из башни сам, увязался за ним, за Ладонщиковым, потому что нуждается в его присутствии и поддержке, боится умирать в одиночестве, без утешения, не имея перед глазами достойного примера, каковой ему и явит он, Ладонщиков... «Не дождешься! — мысленно сказал Ладонщикову Холланд. — Сосунок!», а вслух произнес, отведя ото рта противогаз:

— Пора! Чем дольше мы находимся в этой пустыне, тем короче становится наша жизнь. А короткая жизнь, как короткая грива: будто бы и есть, а ухватиться не за что.

— Глупо хвататься за жизнь, когда осталась всего одна капля, — ответил Ладонщиков, поднимаясь с камня. — Если я откажусь идти, вы, конечно же, потащите меня силой? Вы будете меня бить? Ведь это ваш принцип, не так ли?

— Вы что-то путаете — хочешь подохнуть — подыхай. Но не при мне. При мне — только со мной. Но я подыхать не хочу!

— Ладно, ладно, — ответил Ладонщиков. — Меня убедили другие ваши слова: для живых нужны живые. И еще: кто живет, тот умножает жизнестойкость других. Это правильные слова, мистер Холланд. Эхо истина.

— Я извлек ее из себя, — сказал Холланд. — Запомни, мальчик: из себя! Не из каких-то там теорий, а из себя. Истины — в нас. Они произрастают на нашем жизнелюбии. И это все. Пора!

«Как лихо я говорил! — думал не без удовольствия Холланд, когда они двинулись в обратный путь. — Какая, черт побери, четкость, какая лапидарность! «Живым нужны живые». А?! Или это: «Кто живет, тот умножает жизнестойкость других». Гениально! Или еще: «Истины произрастают на нашем жизнелюбии». Целое учение! А между тем — походка. Работает еще, еще хорошо варит старый помятый котелок! Не то, что молодая тыковка... А подлинный человеческий мир — это мир духа. Все отношения между людьми должны быть переведены в мир духа. Иначе — всем конец! Всему конец, — повторил он слова, которые вдруг стали стремительно отделяться от всех других слов. — Всему конец... Всему конец...»

Ладонщиков заупрямился только перед самым входом в штольню.

— Не пойду, — заявил он Холланду. — Что станут обо мне говорить?

— А что скажут обо мне, если я вернусь без тебя? — вопросом на вопрос ответил Холланд и подтолкнул Ладонщикова к лазу. Он не намеревался церемониться со студентом и, наверное, затолкал бы его в лаз силой, если бы тот стал сопротивляться.

В штольне горел свет, из чего Холланд заключил, что их ждали, если и не все, то Вальтер — непременно, потому что все электрическое хозяйство подчинялось ему. Вальтер не стал бы расходовать энергию аккумуляторов бесцельно, не мог он оставить свет включенным и по забывчивости. Стало быть, была веская причина на то, чтобы освещать штольню за полночь.

— Вот видишь, нас ждут, о нас тревожатся, — сказал Ладонщикову Холланд. — Сейчас обмоемся и явимся в башню на радость всем. Мне почему-то кажется, что уже вернулся в убежище Клинцов, вернулся героем, и что все народонаселение нашего царства празднует сейчас победу над ч у ж и м. По случаю такого праздника вы, конечно же, будете прощены.

— Хорошо бы, — раздеваясь, виновато улыбался Ладонщиков. — Вот хорошо бы так...

Увы, предчувствия Холланда не оправдались. Разумеется, все обрадовались тому, что он и Ладонщиков вернулись. Впрочем, в том, что они вернуться, никто, кажется, и не сомневался, кроме Саида, конечно. И потому радость была

короткой. К тому же все были обеспокоены другим: не вернулся Клинцов, хотя два часа тому назад все слышали, как в глубине лабиринта раздался взрыв. Спустя полчаса после взрыва на поиск Клинцова отправился Вальтер. Он тоже не вернулся.

— Вальтер ушел без оружия? — спросил Холланд.

— Да, — ответил Глебов. — Мы предлагали, но он не взял.

— Что делать? Что же теперь делать? — то и дело спрашивала Жанна. — Господи, что же теперь делать?

— Дайте мне что-нибудь съесть, — сказал Холланд. — И хорошо бы чего-нибудь такого, — щелкнул он пальцами, взглянув на Глебова, — чтобы меня не клонило в сон. Вы понимаете. И я пойду в лабиринт. Это могу сделать только я! — повысил он голос, хотя никто не собирался возражать ему. — Поторопитесь с едой!

Глебов хотел о чем-то спросить Холланда, когда тот уже доедал свой бутерброд, но Холланд отмахнулся от него, сказал:

— Укол, если можно. И чего-нибудь позабористее, пожалуйста!

— Да, да, — согласился Глебов. — Я уже все приготовил.

Уходя, Холланд по-настоящему простился только с Жанной. Он поцеловал ей руку и сказал:

— Никто здесь и мизинца вашего не стоит. В том числе и я, грешный. Жертвуйте всеми и живите. Вы будете жить, Жанна. Не убивайтесь по ушедшим. Просто мы двигались в разных направлениях. Так и считайте.

Выходя из убежища, он похлопал по плечу Кузьмина, который по-прежнему дежурил у входа, обернулся и послал всем воздушный поцелуй.

— Красиво ушел, — вздохнув, произнес Глебов, когда Холланд скрылся в лабиринте. — Теперь нас осталось пятеро: четверо мужиков и одна женщина. Вот какая арифметика.

Саид накормил Ладонщикова. Жалел его, все время предлагал повидло, полагая, видимо, что это лакомство из лакомств. Сокрушенно качал головой, когда Ладонщиков от повидла отказался. После еды Ладонщикова рвало. Он кричал, когда судороги сводили ему живот, требовал лекарства. Глебов и Жанна долго возились с ним. После лекарств Ладонщиков уснул.

Втайне от всех Глебов принял те же лекарства, которыми напичкал Ладонщикова: острые боли в желудке не давали ему покоя. Боли постепенно утихли. Сидя у стены, Глебов задремал.

Саид подошел к Жанне, попросил разрешения сесть рядом. Он говорил что-то еще, но Жанна поняла только это и разрешила ему сесть. Саид поблагодарил ее кивком головы, сел на землю, поджав под себя ноги, опустил глаза и замер, не напоминая о себе ни вздохом, ни шорохом.

Кузьмин, скрытый от Жанны контрфорсом, произнес уже знакомую всем фразу:

— Пока все тихо.

«Господи, — подумала о муже Жанна, — неужели он не вернется?» Хотя уже знала: не вернется. Отбивалась от этого знания, проклинала его, проклинала себя, мучилась, но оно уже было. Ни мысль, ни воображение не могли обойти его. За ним же, как бесконечная тень, тянулась цепь утрат.

Холланд увидел Вальтера издали, шагов с тридцати, едва выйдя из-за поворота. Точнее, еще находясь за углом, он увидел отблеск света на стене, остановился, погасив свой фонарь, и выглянул. Вальтер стоял у стены, упираясь в нее ладонями, и поочередно прикладывался к ней то левой, то правой щекой. Холланд понял, что Вальтер прослушивает стену, хотя не мог сообразить, что могло заинтересовать его.

Фонарь висел у Вальтера на ремне и светил в сторону Холланда. Чтобы предупредить Вальтера о своем появлении, Холланд включил свой фонарь и помахал им, выйдя из-за угла.

— Вальтер! Это я, Холланд. Иду к вам. Не пугайтесь!

— Я понял, — ответил Вальтер, отстранившись от стены. — Хорошо, что вы пришли. У вас все в порядке?

— Да.

Вальтер мог и не рассказывать Холланду о том, что ему не удалось найти Клинцева — Холланд сам это видел.

— Хотя я, как мне кажется, обошел все закоулки, — оправдывался Вальтер. — Словно в воду канул. Ни следа, ни намек на след. Но и ч у ж о й мне не встретился. Не пойму, что могло произойти. И только вот здесь что-то есть, какая-то загадка. Послушайте, — предложил Холланду Вальтер и опять прижался ухом к стене. Холланд последовал его примеру. То, что он услышал, напоминало стук падающих время от времени на землю кирпичей. Очень слабый стук.

— Слышите? — спросил Вальтер.

— Да, — ответил Холланд. — Но как вы его обнаружили? Случайно? Или была какая-то причина для того, что— бы прослушать стену.

Есть причина, — объяснил Вальтер. — Во-первых, здесь, если вы уже успели заметить, пахнет дымом взрывчатки. Это меня остановило прежде всего. А во-вторых, посмотрите сами.

То, что Холланд принимал за нишу, черневшую в трех шагах от него, оказалось ответвлением лабиринта. Вальтер посветил в его глубину, и Холланд увидел грудку обрушившегося кирпича, которая наглухо запирала проход. Здесь особенно густо пахло толовым дымом. Помолчав, Холланд сказал:

— Но взрыв произошел с той стороны.

— Я об этом тоже подумал. И поэтому стал прислушиваться. Он мог остаться с той стороны, а другого выхода, кроме этого, нет. Я не знаю об этом наверняка, но предположить можно. К тому же этот стук... Мне кажется, что кто-то разбирает завал с той стороны, отбрасывает кирпичи. Но этот кто-то — не обязательно Клинцов. Можно, конечно, установить с ним связь, постучать в стену и попытаться выяснить, кто там. Но я не помню, чтобы Клинцов когда-либо говорил, что он знает азбуку Морзе.

— Вы хотите сказать, Вальтер, что не знаете, надо нам или не надо разбирать завал. Если там ч у ж о й, то не надо. Так?

— Конечно.

— Все равно надо разобрать завал. Если там Клинцов, мы должны его освободить. Если там ч у ж о й, мы должны убить его. Иначе он сам разбросает завал и выйдет. Словом, будем работать, Вальтер. Хотя, конечно, попробуем выяснить, кто же там.

Выяснить им ничего не удалось. Тот, кто находился за завалом, не знал азбуки Морзе и лишь отвечал стуком на стук. Все попытки Вальтера обучить его другой, простейшей азбуке, также ни к чему не привели.

— Кретин! — ругался Вальтер. — Ведь все так просто: стучу один раз и обозначаю первую букву алфавита, стучу два раза — вторую, три раза — третью... Ничего не усваивает. Кретин!

— Ладно, — остановил его Холланд. — Какой вывод следует из наших неудач? Мы не знаем, кто там, но надо разбирать завал. Так?

— Выходит, что так.

Не мешкая, они принялись за работу. Разбирали верхнюю часть завала: ведь достаточно было проделать в нем дыру, чтобы тот, кто находился за ним, мог

через эту дыру выползти. Время от времени они прислушивались к тому, что происходило по другую сторону завала. Там тоже шла работа: стучали, сбрасываемые с завала кирпичи. И чем громче становился этот стук, тем напряженнее становился Холланд. Наконец он сказал Вальтеру, когда работы, по его мнению, осталось на несколько минут:

— Теперь вы уходите, Вальтер. И уходите далеко, под защиту Кузьмина.

Надеюсь, вы понимаете, почему я это говорю и почему вам не стоит мне возражать. Вы — безоружны. И если здесь не Клинцов, а ч у ж о й, любая моя промашка будет стоить вам жизни.

— И вам, Холланд.

— Разумеется. Но речь не обо мне. Итак, — уходите. Видя, что Вальтер медлит, Холланд добавил: — Там остались почти беспомощные люди. Без вас, Вальтер, они пропадут.

— Но как я вернусь без всяких вестей для Жанны?

— Дождетесь меня, и все прояснится. А если не вернусь, — вот вам мой подарок: шашка с детонатором. Берите, пригодится. У меня такая же. Словом, уходите!

Вальтер ушел. Потоптался на месте, кашлянул, потом махнул рукой и ушел. Холланд погрозил ему кулаком, когда тот на секунду задержался у входа и оглянулся.

— Без хитростей! — крикнул ему Холланд.

— Жду вас! — ответил Вальтер.

Пока Холланд и Вальтер разговаривали и прощались, по ту сторону завала было тихо. Но едва Холланд, забравшись на завал, отбросил первый кирпич, с другой стороны тоже началась работа. Работа спорая, как после доброй чашки кофе и хорошего отдыха. Холланд подумал, что это не похоже на Клинцова, хотя все могло быть.

Дыра образовалась неожиданно: кирпич вдруг осыпался, осел и образовалась щель, в которую свободно можно было просунуть руку.

Холланд отплевался от пыли и спросил:

— Вы меня слышите?

— Да, — ответил ему незнакомый голос.

— И кто же вы? — Холланд наклонился к щели.

В глубине щели грохнул выстрел. Сползая вниз головой с груды кирпичей, Холланд успел подумать, что пуля пробила ему шею ниже правого уха и ушла в грудь.

Вальтер услышал выстрел, находясь от завала в нескольких десятках шагов: не выполнив приказа Холланда, он остановился за первым же поворотом, решив, что теперь, когда у него в руке взрывчатка с запалом, ему не стоит упускать ч у ж о г о, если тот здесь и если Холланд не убьет его, если произойдет обратное.

Услышав выстрел, Вальтер бесшумно, на носках, не зажигая фонаря, двинулся в сторону завала.

Решение надо было принять немедленно, а между тем три величины оставались неизвестными: Вальтер не знал, кто пробивается из-за завала, Клинцов или ч у ж о й; он не знал, откуда был произведен выстрел в Холланда — из дыры над завалом или сзади, со стороны входа; он не знал, жив ли Холланд. А знать это было крайне необходимо: если из-за завала пробивается ч у ж о й и если Холланд жив, следовало вынести Холланда в лабиринт и только после этого швырнуть взрывчатку в дыру над завалом; если в Холланда стреляли со стороны входа и, стало быть, за завалом находится не ч у ж о й, а Клинцов, надо опасаться появления ч у ж о г о с тыла. Но в любом случае Вальтеру надо было приблизиться к Холланду и осветить его, потому что до сих пор он видел его в

свете рассеянных лучей, проникших с другой стороны завала через дыру, из которой, словно из печной трубы, клубилась пыль. Включив фонарь, Вальтер подошел к Холланду, искоса поглядывая на дыру, готовый выключить фонарь в тот самый момент, когда погаснет свет с другой стороны: находящийся за завалом не должен был знать о его присутствии...

Стремясь не греметь кирпичами, Вальтер поднял Холланда и понес к выходу. Шел медленно — мешали все те же кирпичи, разбросанные по всему переходу, каждой ногой приходилось выискивать место, на котором она не подвернулась бы. Когда до пересечения с длинной галереей оставалось не более двух-трех шагов, по завалу за спиной у Вальтера посыпались кирпичи. Вальтер оглянулся, но ничего не увидел, потому что яркий свет ударил ему в глаза. Вальтер инстинктивно зажмурился. И в это время грохнул выстрел. Пуля угодила Вальтеру в правое плечо, пробила его и вонзилась меж ребер. Он уронил Холланда и, перешагнув через него, почти падая, нырнул в поперечную галерею.

Ему надо было сделать еще несколько шагов, чтобы оказаться за поворотом, в безопасности. Но оттуда ему не удалось бы забросить взрывчатку в ответвление, где находился ч у ж о й. К тому же, в любой момент его правую руку могла сковать боль, а одной рукой, к тому же левой, он вряд ли справился бы со взрывчаткой. И поэтому он не бросился к повороту, оказавшись в поперечной галерее, а, погасив фонарь, достал из кармана толовую шашку и зажигалку. Убедившись в том, что детонатор вставлен в отверстие шашки, Вальтер поджег обрезок бикфордова шнура. Он заискрился, как бенгальский огонь. Яркая шипящая сердцевинка пламени двинулась к взрывателю. Вальтер приблизился к входу в ответвление лабиринта и метнул в него шашку. Взрыв был настолько сильным — сдетонировали шашки, находившиеся у Холланда, — что ударная волна метнула Вальтера к противоположной стене и раздробила его о кирпичи. Ч у ж о й оказался в поперечной галерее прежде, чем прозвучал взрыв.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кузьмину не надо было объявлять о взрыве — все слышали его. Долго молчали. Усталые, истерзанные души уже с трудом усваивали происходящее.

— Что-то надо делать, — напомнила Жанна.

— Конечно, — согласился Глебов. — Еще немного подождем — и я пойду.

— Вы не пойдете, — возразила Жанна. — Вы — врач. Пойдет Кузьмин.

Охранять вход доверим Саиду. Скажите ему об этом.

— Пойду я, — сказал Глебов. — Именно потому, что врач, а еще потому, что стар, и еще потому, что безнадежно болен... Впрочем я уверен, что со мной ничего плохого не случится. Хотя на всякий случай я научу вас, как обращаться с лекарствами и прочими штуками. На это мы потратим не больше десяти минут. Итак, — Глебов раскрыл свой чемодан и ткнул пальцем в никелированную коробку, — здесь шприцы, в этой же штуке их надо кипятить после использования...

Жанна все внимательно слушала и, когда Глебов закончил и спросил ее, все ли она поняла, сказала:

— Вы пойдете с Кузьминым, Владимир Николаевич. Если там кто-то жив, Кузьмин поможет вам донести.

— Повинуюсь, — поднял руки Глебов.

Кузьмин передал Саиду пистолет и стоял молча, потупившись, до тех пор, пока Глебов не тронул его за плечо.

— Вот ваш фонарь, — сказал ему Глебов. — Саид предлагает вам свой нож,

настоящий кинжал. Возьмете?

— Нет, — ответил Кузьмин. — Я не умею ножом...

— Хорошо, хорошо, — успокоил его Глебов. — Пойдем без оружия. Просто пойдем. Я — впереди, вы — за мной. В этом есть какой-то смысл. А Ладонщиков все еще спит, — добавил он. — Так что прощаться с ним не следует...

— Пусть спит, — сказал Кузьмин. — Вот удивится, когда проснется. — Кузьмин не объяснил, чему удивится Ладонщиков, когда проснется, а Глебов спрашивать его об этом не стал.

— Не скучайте без нас, — поклонился Глебов Жанне и сказал несколько слов Саиду, смысл которых сводился к тому, что Саид должен быть бдительным, что в его руках отныне его собственная жизнь, жизнь Жанны и Ладонщикова.

— Пока я буду жив, никто не умрет, — ответил Глебову Саид.

— Владимир Николаевич, — остановил Глебова Кузьмин, когда они были уже достаточно далеко от убежища. — Давайте покурим, Владимир Николаевич. У меня остались сигареты. А вы, я это видел, иногда баловались сигаретками. Страшно хочется курить.

— Сначала сделаем дело, — ответил Глебов. — Представьте себе, что кто-то срочно нуждается в нашей помощи, а мы тут стоим и сигаретки покуриваем. И вообще — не разговаривайте, Кузьмин. Не разговаривайте, не включайте фонарик, идите тихо. Поняли?

— Понял, — отозвался Кузьмин из темноты.

Путь до завала занял у них не более получаса. Они могли бы плутать по лабиринту и дольше, но так уж случилось, что выбрали кратчайший путь, идя все время на запах взрывчатки.

Первым на тело Вальтера наткнулся Глебов. Он опустился перед ним на колени и позвал Кузьмина. Вместе они извлекли тело Вальтера из-под обломков кирпича и оттащили от завала.

— Он мертв? — спросил у Глебова Кузьмин.

— Вероятно, — ответил Глебов. — Но вы останетесь возле него, пока я буду осматривать завал. Ничего делать не надо, стойте себе — и все. Если я вас позову, подойдете. Но если со мной что-то случится, бегите отсюда, ни о чем не раздумывая. Это мой приказ. Вы поняли? Кстати, можете покурить. Но огонек прячьте в руке. Умеете?

— Умею, — ответил Кузьмин.

Глебов вернулся через несколько минут, когда Кузьмин уже докуривал сигарету. Прислонился устало к стене рядом с Кузьминым, взял из его руки обжигающий пальцы окурок и глубоко затянулся.

— Ну, что там? — спросил Кузьмин.

— Там? Да дайте же мне, черт возьми, целую сигарету! — возмутился Глебов. — Из-за вас я обжег пальцы!

Кузьмин дал Глебову сигарету. Глебов закурил и успокоился.

— Из того, что я там увидел, — сказал он, — можно заключить, что Холланд и Клинцов также погибли. Сказать что-либо определенное о ч у ж о м я не могу. Это все. С этой вестью мы вернемся. Вальтера похороним здесь. И как можно скорее. Здесь ужасное место. Ужасное!

Они уже возвращались, когда Глебов вдруг почувствовал себя совсем плохо. Остановившись, он уперся руками в стену, но не устоял и со стоном опустился на колени. Кузьмин подбежал к нему, помог подняться.

— Вы что, Владимир Николаевич? Голова закружилась? Неужели из-за сигареты?

— Из-за сигареты, дружок, — соврал Глебов. — Конечно, из-за сигареты. Но, как говорится, клин клином... Давайте еще по одной? — попросил он. —

Только давайте сядем, чтоб уже курить так курить, спокойно, со вкусом.

— Я согласен, — обрадовался Кузьмин. — Потому что в нашем бункере не покуришь.

Они сели на пол и закурили.

— Кузьмин, — спросил Глебов после второй или третьей затяжки, — а что вы думаете обо всем этом?

— О чем, Владимир Николаевич?

— О том, что с нами произошло.

— Я жду, что все прояснится, что нас разыщут.

— Кто, Кузьмин?

— Или Филиппо, или наши, советские.

— Значит, вы уверены, что мировой катастрофы не произошло?

— Уверен.

— Почему? На чем основана ваша уверенность?

— Не знаю. Может быть, на том, что люди все-таки разумны и не хотят умирать. Я допускаю, что случайность могла привести к конфликту, но разум должен был обнаружить эту случайность и предотвратить всемирную бойню. А вы думаете иначе, Владимир Николаевич?

— Просто я думаю о другом, Кузьмин. Я думаю о том, как могло случиться, что мировая катастрофа стала возможной. Как могло случиться, что люди накопили столько смертоносного оружия. Разумные люди, как вы заметили. Люди, которые не хотят умирать. Наша цивилизация себя не уважала. Она кичилась своими достижениями, но не уважала себя. И смерти она не боялась, всеобщей смерти: ведь если все вместе — так совсем не страшно, страшно, когда каждый в одиночку. Смерти боится разум — он одинок во Вселенной, он ее око и зеркало, а жизнь не одинока, она ничего не боится. Вы видели, Кузьмин, как разум рвался в космос, чтобы покинуть эту планету. И не успел... У вас остались сигареты? — спросил Глебов.

— Остались. Хотите еще?

— Да, Кузьмин.

— А вам не повредит? На пачке написано, что курение вредит здоровью.

— Вот! — Глебов взял сигарету. — Написано, что вредит, а люди курят.

Почему? Потому, что каждый относится к своей жизни как к личному достоянию: моя жизнь, мое достояние — что хочу, то и делаю. Мы пеклись о том, что человек не должен быть средством для другого человека. А человек сам превращал себя в средство для добывания собственных удовольствий: гублю свое здоровье, но зато балдею! А?! Курю, пью, таскаюсь, валяюсь, обжирюсь, ни о чем не думаю, ловлю кайф! Разве не так? Человек эксплуатировал другого человека, присваивал плоды его труда. Это был великий социальный грех. И мы с ним разделились в нашей стране с помощью социальной революции. Нужна была глубочайшая культурная революция, чтобы разделаться с другим грехом — с неуважением к собственной жизни и разуму. Ведь все равно, кто губит в тебе это — ты сам или кто-то другой. Необходимо было обобществить не только средства производства, но и жизнь, и разум. Всякое посягательство на собственную жизнь и разум должно было квалифицироваться как посягательство на общественное достояние.

— Вы говорите обо всем в прошедшем времени, Владимир Николаевич, — заметил Кузьмин.

— Да? Так мне легче браниться. Машу, как говорится, кулаками после драки.

— И потом, вы рассуждаете так, будто в катастрофе виноваты мы, а не американцы.

— Разве?! — удивился Глебов. — Вы так меня поняли? Но ведь я, Кузьмин, говорил о человечестве, о цивилизации, о жизни, о разуме... Впрочем, я вдруг

вспомнил сейчас, чему учила когда-то меня моя бабушка, Елизавета Арсентьевна, древняя старушка. Она говорила: «Умный во всем винит себя, а дурак — соседа». Каково?

— И что вы хотите этим сказать? Что я — дурак?

— Ни в коем случае, Кузьмин! Как вы могли такое подумать?!

— А что же?

— Ведь если произошло то, чего мы не хотели, что мы старались предотвратить, предупредить, остановить, а оно все-таки произошло, значит, мы не все сделали. Не успели все сделать. Надо было быстрее! Быстрее работать, быстрее думать. Больше работать и больше думать. Не давать энтузиазму остыть, а знамени — поблекнуть. Война задержала нас на десять лет, а бюрократия — на сколько? Свободомыслие, справедливость, правда, демократия — все это святости, выше которых нет. Но бюрократия их опошילה, извратила, иссушила своим скудоумием, замарала цинизмом... Ах, как я ненавижу бюрократов, Кузьмин! Как ненавижу! И о том лишь жалею, умирая, что не задушил ни одного бюрократа!.. Хочу задобрить вас, Кузьмин. Потому что вам предстоит тащить меня на плечах: я совсем ослабел. А вы? Как вы ощущаете свое маленькое щуплое тело, Кузьмин?

— Как ощущает себя... пуля, — ответил Кузьмин.

— Странное сравнение. Сами придумали?

— Сам. И притом — сейчас. Не знаю, почему.

— Можно узнать. Вы долго держали в руке пистолет, когда дежурили у входа. Рука еще помнит, как она сжимала удобную рукоятку. Глаза еще помнят, как блестит пуля. Мы теряли друзей, и вы не раз в вашем воображении расправлялись с ч у ж и м. Вам самому хотелось быть этой пулей — так вы жаждали отомстить. И вот теперь вы сказали об этом. Похоже на правду, Кузьмин?

— Очень похоже. Да, да, так, кажется, и было.

— Вот и ладно. Я помог вам раскрыть тайну вашей мысли, а вы помогите мне дотащиться до убежища. В путь?

— В путь.

У Глебова еще хватило сил дойти до убежища, опираясь на плечо Кузьмина.

— Что? — спросила Жанна, схватив Глебова за руку.

— Ничего, — ответил Глебов, отводя глаза. — Все погибли. Все похоронены там.

— И Клинцов?

— И Клинцов, Жанна. Все.

— Я пойду туда!

— Нет! — теперь Глебов взял Жанну за руку. — Туда нельзя! Там воронка, в которой все перемешалось с кирпичом и глиной. Я забросал эту воронку. Туда нельзя. И потом... ч у ж о й...

— Ч у ж о й не убит? — закричала Жанна. — Боже мой, он не убит!.. Столько жертв — и не убит!..

Никто не знал, чем можно утешить ее, как остановить ее рыдания, от которых у всех надрывалось сердце.

— Это все, — сказал Ладонщиков, когда Жанна приутихла. — Это — конец.

— Заткнись! — заорал на него Кузьмин. — И без тебя тошно!

— Лучше помолчим, — предложил Глебов. — Помолчим — это самое лучшее.

— А я не согласен, — возразил Кузьмин. — Ведь надо что-то делать. Я предлагаю замуровать вход в убежище. Запастись водой и замуровать вход. Невозможно жить с постоянной мыслью, что ч у ж о й снова кого-то убьет.

— Просто невозможно жить, Кузьмин, — снова заговорил Ладонщиков. —

Жить невозможно. Невозможно, нет смысла и нет сил. Если мы замуруемся — это совсем конец, это самопогребение: нас не найдут, даже если будут искать.

— Я подумал об этом. Нас найдут по кабелю, который тянется от электростанции.

— Ч у ж о й обрежет кабель.

— Мы услышим тех, кто будет нас искать.

— Не уверен. А можем услышать, но не ответить: все будет зависеть от нашего состояния... К тому же мы не запасемся водой и на десяток дней. Кончится вода — придется разбирать стену. Но останутся ли у нас для этого силы? Ведь продуктов мало. А если и разберем, снова окажемся на мушке у ч у ж о г о, но теперь уже обессиленные. Скоро сядут аккумуляторы — будем жить в кромешной тьме. Разве это не конец? Давайте вместе уйдем отсюда, — предложил Ладонщиков. — Если и погибнем, то на воле. А может быть, увидим людей...

Кузьмин на этот раз не возразил ему. Помолчали.

— Я не смогу пойти с вами, — сказал Глебов. — Я болен. И вообще... Но я вас освобождаю от каких-либо обязанностей по отношению ко мне. Об одном лишь буду вас просить: оставьте мне пистолет, если уйдете. Ваше положение в пустыне будет ничуть не лучше, чем мое здесь. Никто не выиграет, никто не проиграет. Просто каждый сам избирает свою смерть. Словом, вас не должна мучить совесть, что вы оставили меня здесь. Скорее меня станет мучить совесть: ведь вы уйдете на верную смерть, а я не могу вас остановить.

— Хуже всего тому, кто останется один, — сказала Жанна. — Если двое оставляют одного, они предают его. Мы останемся здесь! — заявила она тоном, не допускающим возражений: она имела право на этот тон.

— А если один оставляет всех? — спросил Ладонщиков. — Если я оставлю вас и уйду?

Никто ему не ответил.

— Но я не могу больше! — закричал он вдруг, ударяя кулаками в стену. — Не могу! Не могу! Я сойду с ума! Вы этого хотите? Отпустите меня! Мне лучше умереть, чем сойти с ума! У вас у всех будет возможность покончить с собой, когда придет время. А я, сумасшедший, останусь один в этих катакомбах!.. Вы этого хотите? Да? Ведь я свободен, черт возьми! Свободен! — продолжал он кричать, обращаясь к Жанне. — Как вы не понимаете? Я абсолютно свободен! Нет больше никаких общественных законов. Ненавижу! Хочу убить себя! Не-на-ви-жу-у-у!

Стыдно, — сказала Жанна. — Стыдно слушать тебя. Распустил нюни, как баба! Замолчи! — потребовала она. — Мы — люди! И должны умереть как люди, а не как собаки!

— Но я схожу с ума, — сказал тихо Ладонщиков и заплакал. — Я схожу с ума... Я вижу странные вещи. Я вижу, как мне на жертвенном камне перерезают горло и как моя кровь течет в яму. Я чувствую во рту вкус крови. И мне это сладко, я этого хочу...

— Обыкновенный бред, — сказал Ладонщикову Глебов. — Я ввел вам в вену успокоительное средство, оно с наркотиком. Обыкновенный наркотический бред. Плюньте на это, — посоветовал он. — У вас маленькая фобия. В остальном же ваши нервы крепки, как канаты. С ума вы не сойдете. Но вы, разумеется, правы в том, что вы — свободны. Все свободны, друзья. Было бы нелепо — и жестоко — если бы мы стали навязывать теперь друг другу какие-то правила. Высший закон над нами — наша совесть. Там, где она диктует нам общие принципы, — мы едины, там, где наши принципы не совпадают, — мы разобщены. Давайте с этим согласимся и не будем мучить друг друга.

Саид спросил у Глебова, о чем идет разговор: теперь все говорили по-русски и его слух не улавливал ни единого знакомого слова.

— Мы обсуждаем, надо ли нам оставаться здесь или уходить в пустыню, — ответил Саиду Глебов. Он хотел добавить: «Ведь и тут и там — смерть», но передумал и сказал: — Мы не можем решить, где безопаснее, где надежнее.

— Надо перебраться в штольню, — сказал Саид. — И завалить вход в башню. Это легко сделать — стоит лишь выбить подпоры. Мы должны так сделать, чтобы избавиться от аш-шайтана.

«Боже мой! — подумал Глебов. — Почему же нам раньше не пришло это в голову? Завалить вход в башню и остаться в штольне... Конечно, там не так просторно, там выше радиация, но зато мы были бы избавлены от ч у ж о г о... Надо немедленно объявить! Только бы силы не подвели! — разволновался он. — Только бы силы...»

— Друзья! — сказал он громко. — Саид, с которым я сейчас, как вы слышали, беседовал...

— Кто-то идет! — крикнул вдруг от входа Саид, не дав Глебову договорить. — Кто-то приближается!

Кузьмин бросился к нему.

— Спрячьтесь за контрфорсы! — приказал он остальным. — Я подстрахую Саида!

Шаги были явственно слышны, но они не приближались и не удалялись: казалось, кто-то топчется на одном месте.

— Разминается, что ли? — предположил Кузьмин. Саид его не понял и ничего не ответил.

— Эй, какого дьявола тебе нужно? — крикнул в темноту Кузьмин. Шаги утихли, но никто не отозвался.

— Притаился или ушел? — подумал вслух Кузьмин. — А может быть, вообще почудилось? Как вы думаете, Владимир Николаевич? — обратился он к Глебову.

Глебов не ответил.

— Вы слышите меня, Владимир Николаевич? — спросил Кузьмин. — Почему не отвечаете?

Жанна подошла к Глебову, присела возле него, потормошила за плечо.

— Вы спите? — спросила она. — Что с вами?

Ответом ей был хриплый стон: Глебов был без сознания. Жанна пришла в замешательство: ни она, ни кто-либо другой не знали, как помочь Глебову. Холодный компресс на лоб — это предложил Кузьмин, горячий компресс на сердце — это предложила сама Жанна, ничего не дали: Глебов в себя не приходил.

Через несколько часов он умер. За две-три минуты до кончины он открыл глаза, поднял руку и очертил ею в воздухе круг. Никто не понял, что это означало. Лишь Ладонщиков предположил, что жест Глебова надо понимать так: круг жизни завершен.

— Короче, он сказал: «Я умираю», — добавил Ладонщиков для ясности. — Отчего он умер? От лучевой болезни?

Ни Жанна, ни Кузьмин не ответили ему.

— Я знаю, он умер от лучевой болезни, — заговорил мрачно Ладонщиков, возвратившись к своему ложу. — Теперь моя очередь. Я больше вас всех находился снаружи... Только я не хочу умирать в этой вонючей башне. Здесь невыносимо воняет солдатскими портянками. Здесь противно умирать.

Жанна хотела снова прикрикнуть на него, но Кузьмин остановил ее:

— Пусть говорит, — сказал он ей. — Если ему так легче, пусть говорит.

— Хорошо, — неожиданно легко согласилась Жанна. — Теперь ты наш

командир. Подумай о том, где и как похоронить Владимира Николаевича. Если ч у ж о й караулит нас на выходе, то где же хоронить?

— Прекрасно, — продолжал бубнить Ладонщиков. — Теперь он караулит нас на выходе. Кто первым выйдет, того он и уложит. Но сядут аккумуляторы, но кончится вода — и, значит, кому-то придется идти к пульту управления станцией и помпой. Кем же мы пожертвуем? Бесцельно пожертвуем, потому что он не доберется до пульта, ч у ж о й его не пропустит, а идти все-таки надо, потому что другого выхода нет. Вы, конечно же, пошлете меня, потому что мне, как известно, все равно умирать. Так?

— Похоронить Владимира Николаевича придется здесь, — сказал Жанне Кузьмин, не обращая внимания на бубнеж Ладонщикова. — Выроем могилу и похороним. Лезть на рожон не станем — в этом пока нет нужды. Мне тоже думается, что ч у ж о й притаился и ждет.

Кузьмин и Ладонщиков вырыли могилу, опустили в нее тело Глебова и засыпали землей.

Кузьмин сменил у входа Саида. Саид собрал немудреный ужин, потом, когда все поели, снова устроился возле Жанны, сидел неподвижно и молча не то в глубокой задумчивости, не то в дреме.

— Это он охраняет вас, Жанна, — пошутил глупо Ладонщиков. — От меня и от Кузьмина. — И тут же извинился: — Простите, ради бога.

Жанна ничего не сказала. Саид услышал ее имя, произнесенное Ладонщиковым, приоткрыл глаза. Жанна кивнула ему головой. Саид чуть заметно улыбнулся. Он, конечно же, охранял ее, хотя в этом не было никакой нужды. Но у него, вероятно, был свой взгляд на это.

— Опять топчется, — сказал о ч у ж о м Кузьмин. — Я понял, что он делает: он просто ходит взад и вперед, пересекая выход из нашего туннеля. Он уверен, что кто-то из нас выйдет. У него там удобная позиция — такая же, как у нас здесь. Он будет ждать нас там, а мы будем ждать его здесь. Проверим, у кого больше терпения, выдержки. Вода у него, конечно, есть: он может пользоваться нашей помпой. Но есть ли у него еда?

Он ни в чем таком не нуждается, — заговорил Ладонщиков, — ни в воде, ни в еде. Потому что он не тело, а дух, аш-шайтан, злая сила, дьявол, материализовавшееся зло, следствие катастрофы, ее довершающая черное дело воля. И мне думается, что она теперь присутствует всюду, где еще остались живые люди. Она добивает их, довершает начатое, потому что ведь нельзя оставить и дать возродиться ужасному в своей неразумности существу, обожравшемуся и отупевшему от чрезмерной сытости. Виноваты в катастрофе обожравшиеся — я это знаю! Не голодные, нет, а обожравшиеся, в которых разум спит и пузыри пускает. Голодные думают, а сытые гадят, гадят, гадят!.. Но разум Вселенной, если он существует, думает о нас иначе, он думает, что все мы дерьмо, что все мы виноваты, все заслужили погибель, потому что он не разделяет нас на сытых и голодных, он видит род человеческий. А мы — люди и должны видеть иначе. Хотя — зачем? Какой смысл? Нет смысла. И не было никакого смысла...

— Все-таки помолчи, Толик, — попросила Жанна. — Не надо об этом говорить. Тем более, если нет смысла.

— Надо было жить иначе, — продолжал Толик, словно и не слышал просьбы Жанны. — Надо было жить не так, как мы жили. Не зря древние говорили, предупреждали нас: во всем должна быть мера. А мы меры не знали ни в чем. Эпикур говорил, что надо удовлетворять только естественные и только необходимые потребности: человеку нужен чистый воздух, чистая вода, простая пища, простая одежда, крыша над головой и верный друг. И это все. Все! Вот

мера: только естественное и только необходимое. Это обеспечит вам здоровую и долгую жизнь, крепкое тело и спокойную душу. И безопасность — потому что рядом с вами ваш верный и надежный друг. Добыть все это совсем не трудно, а потерять почти невозможно, и потому тебе не нужны ни рабы для того, чтобы с их помощью добывать себе блага, ни власть, чтобы эти блага охранять. Кто выходит за пределы меры, тот с неизбежностью становится угнетателем себе подобного. Тот становится преступником и перед собственной природой, и перед людьми. Вот вам и нравственный закон: не выходи за пределы естественного и необходимого. Всякое богатство — кража. Эта формула была произнесена позже. Но истина, в ней заключенная, была известна людям в самом начале истории. Всякое богатство — кража. Обратите внимание на слово «всякое». Богатство — кража и в том случае, если ты потратил слишком много сил и, значит, обокрал свое здоровье; ты нарушил меру и, значит, обокрал свою душу, наплевал на принцип, на себя и на людей. Но ты обокрал и человечество, потому что присвоил себе то, что могло бы послужить многим, и предал человечество, потому что нарушил его закон. Но если ты присвоил богатство, добытое чужими руками, ты обрек человечество на гибель, потому что ты положил начало той цепной реакции, которая приведет к катастрофе. Поэтому я сказал: кто обожрался, кто жил в роскоши, тот был убийцей людей и природы. Нам был дан разум, чтобы это понять, но мы не воспользовались этим знанием. Почему?

— Толик, прервись на минутку, — сказал Кузьмин. — Я послушаю, что происходит в лабиринте.

— Это важнее, верно? Впрочем, пожалуйста! — ответил Ладонщиков и замолчал.

Ч у ж о й продолжал ходить.

— Как будто шакал грызет кость, — сказал о шагах ч у ж о г о Ладонщиков, — как будто точит свои вонючие зубы...

Кузьмину не хотелось, чтобы Ладонщиков принялся развивать эту тему, и поэтому он напомнил ему о прерванном монологе:

— Так почему мы не воспользовались знанием того, что всякое богатство — кража? — спросил он.

— Потому что это было запоздалое знание, — ответил Ладонщиков. — Оно пришло к людям, когда они уже были разделены на богатых и бедных. Ведь знание факта предполагает, что факт уже совершился. Знание — всегда запоздалое. Это с одной стороны. С другой стороны: знание, как и незнание, не является для нашей практической жизни аргументом. Всякий прогноз мы принимаем как аргумент лишь после того, как он подтвердится фактом. В этом — трагедия людей. Кто должен был поднять это знание как знамя борьбы, пребывает в невежестве, огражденном от истин лживой идеологией, лживой политикой, лживой культурой обожравшихся.

— О чем он все время говорит? — спросил у Жанны Саид на ломаном английском языке.

— Он говорит, что богатые погубили мир, — ответила Жанна.

— Это правда, — заговорил Саид на родном языке, забыв, должно быть, о том, что его никто не понимает. — Богатство — это чума, это смерть. Богатый не любит своих детей, потому что ему надо делиться с ними своим богатством. Богатый ненавидит всех людей, потому что его богатства могут достаться им. Когда богатый умирает, он хочет, чтобы вместе с ним умерли все, он всех тащит за собой в могилу, так как боится, что живые завладеют его богатством. Он хочет убить всех людей еще до того, как умрет сам, чтобы они не оказались счастливее его. Богатый человек — это взбесившийся человек. Он — чума, смертельная болезнь.

— Он молится? — спросил у Жанны Ладонщиков.

— Не знаю, — ответила Жанна. — Пусть Владимир Николаевич переведет.

— Что? — тихо спросил, боясь выдать свое удивление, Ладонщиков. — Но ведь Владимира Николаевича нет в живых, Жанна.

— Нет в живых?!

— Ты забыла? — пришел ей на помощь Ладонщиков. — Мне тоже иногда кажется, что все случившееся — только сон. Что сейчас я проснусь — и не станет этой башни, этого лабиринта, этого ада. Но проснуться не удастся. Можно погрузиться лишь в еще более страшный сон...

— Да, — тяжело вздохнула Жанна. — Голос Саида меня загипнотизировал, что ли... Я слушала его речь, а видела чистый ручей, бегущий по гладким белым камням. Я была еще у ручья, когда ты спросил меня про молитву Саида...

— Это — бегство, — сказал Ладонщиков. — Бедный мозг, он один не хочет умирать. Пока я говорю, я здесь. Но стоит мне замолчать — и я уже не здесь: либо в прошлом, либо в будущем — за гранью реального. Это — бегство, но не спасение. Правда, так скрашивается тягостное ожидание. Но разве ожидание принесет нам спасение? Наше ожидание становится напрасным. Но мозг не хочет умирать, он пускается во все тяжкие, он уносит нас в воображаемый мир, где все хорошо. Это — бегство. Но это — не спасение...

— Там — тихо, — сказал Кузьмин. — Не осветить ли туннель? Надо осветить: этот тип мог неслышно приблизиться.

— Освети, но не высовывайся, — посоветовал ему Ладонщиков. — Ты понял? Не высовывайся!

— Я понял, — ответил Кузьмин и включил фонарь. В ответ раздался выстрел. Пуля ударила о жертвенник, полетели осколки камня.

— Сволочь! — закричал в туннель Кузьмин. — Сволочь! Гад! Дерьмо собачье! Убийца! Убийца! Убийца!.. — он съехал спиной по стене, сел на землю и закрыл кулаками лицо, не выпуская пистолета. — Убийца! — всхлипывал он истерично. — Сволочь!..

Жанна подошла к нему и села рядом.

— Не надо, Коля, — попросила она его. — Успокойся. Это бесполезно...

— Бесполезно? — переспросил Кузьмин, отняв руки от лица. — А что полезно, Жанна? Что в нашем положении полезно?

— Не знаю. Но только не истерика, — ответила Жанна. Она погладила Кузьмина по щеке, добавила: — Ты перестал бриться. Стал колючим, как еж. Приказываю побриться. И тебе, Ладонщиков! — сказала она громко. — Сейчас же побрейтесь! Я и Саид подежури́м у входа. — Жанна взяла пистолет и подозвала Саида. — А тебе, мальчик, еще не надо бриться, — сказала она Саиду, передавая ему пистолет. — Ты еще совсем мальчик. Интересно, сколько тебе лет? Шестнадцать? Семнадцать?

Саид понял, что Жанна разговаривает с ним, беспокойно улыбнулся. Спросил жестом, отправляет ли она его в туннель.

— Нет, нет! — ответила Жанна, ухватив его за руку. — Нет, нет, — добавила она спокойнее. — И как тебе такое в голову пришло? Сиди здесь, — усадила она его рядом. — Ты понял? — спросила она его по-английски.

— Да, — закивал головой Саид. — Я понял.

— Есть прогресс, — сказал Ладонщиков, — Пятница начинает говорить. Жаль только, что поздно: научится говорить на одном из мировых языков, а мира-то и нет, разговаривать не с кем.

— Со мной будет разговаривать, — ответила Жанна. — Разве я не целый мир! Студенты перестали бриться, переглянулись.

— Вы о чем это, Жанна? — спросил Ладонщиков.

— Все о том же. О том, что каждый человек — это целый мир.

— Ах, каждый... А я подумал было, что только вы, Жанна, целый мир, потому что вы — женщина. Но оказывается, что и каждый мужчина — тоже целый мир. Это успокаивает, — сказал Ладонщиков. — Четыре мира, а не четыре несчастных человека... Другой масштаб, верно? Но и ужас другой: гибнут миры, а не люди.

— Не болтай, а то порежешься, — сказал Ладонщикову Кузьмин.

— Вот, сам собою сочинился стишок, — засмеялся Ладонщиков. — Взял и выскочил откуда-то. Послушайте: кто бреется, кто моется, тот чистеньким умрет, а кто в навозе роется — свиньей, наоборот. Смешно?

Никто ему не ответил.

— Понимаю, — сказал Ладонщиков, — поэзия вас уже не волнует. Все правильно. Человек без цивилизации — голое и примитивное существо, обезьяна. Вместе с цивилизацией гибнут искусство, философия, наука, этика, эстетика, идеология, право... Что там еще? Дух гибнет, душа. Вместе со второй сигнальной системой, с языком, материей мысли. Если бы мы и остались жить, то превратились бы в обезьян. Если не в первом, то во втором колене. И уж, конечно, не брились бы, потому что на кой черт?! — Ладонщиков подошел к жертвеннику и швырнул в яму бритву, потом зеркало. — Все надо бросить в яму, — сказал он. — И самим пора...

— Ты виден из туннеля, — напомнил ему Кузьмин. — Отойди, иначе он может выстрелить и попасть в тебя.

— И прекрасно, — Ладонщиков сел на жертвенный камень. — Это просто замечательно! На жертвеннике — жертва. Все возвратилось к началу. И не смей ко мне подходить! — закричал он на Кузьмина. — Я так хочу! Потому что я устал, — добавил он упавшим голосом, видя, что Кузьмин остановился. — И нет смысла продолжать...

То, что происходило с ним, почти невозможно было выразить словами. Одно он знал точно, о чем уже сказал: он умирает и сходит с ума: невыразимо было другое — то, как подступают к нему смерть и сумасшествие. Непередаваемо. И потому ни Кузьмин, ни Жанна не верили его словам о смерти и сумасшествии. А они приближались. Как тошнота, как головокружение, как черная вода в затопляемом подвале, в котором он заперт. И как удушающее зловоние... И еще он распадался, разваливалось его тело: отламывались руки и ноги — он видел их лежащими отдельно, они дергались, как лапки препарированной лягушки; раскалывался его череп, кто-то выскакивал из него, как цыпленок из насиженного яйца, и удирал... И еще он был отсеченной частью чего-то, совсем не человеком, а бесформенным кровоточащим обрубком... Обо всем этом нельзя было думать, потому что, едва подумав, он возвращал себя в это состояние, оно набрасывалось на него, лишая рассудка. Дерево сломлено, обожжено, но некоторые листья еще зелены. Но они без дерева — ничто, зеленое пятнышко, трепещущее на ветру до поры, до времени. Все угасает...

— Толик, сойди с камня, — ласково попросил Ладонщикова Кузьмин. — Ты очень огорчаешь нас. Или я вынужден буду выключить свет, чтобы чужой не видел тебя из туннеля. И тогда мы вынуждены будем сидеть в темноте, пока ты будешь оставаться на камне. Не упорствуй, Толик. Мы должны умирать в ботинках. Вспомни, как говорил Селлвуд. Это по-мужски. Видишь, что смерть рядом, но до конца делаешь свое дело. Надо умирать в ботинках. Провод у меня под рукой. Сейчас я сдерну его с клеммы аккумулятора.

Ладонщиков поудобнее устроился на камне и сложил руки на груди, давая этим понять, что с жертвенника он не сойдет. Кузьмин дернул за провод, и свет погас. Он сделал это вовремя: пуля, срикошетировав от стены туннеля, свирепым жуком ворвалась в убежище и вонзилась в рыхлые кирпичи за жертвенной ямой.

— Жаль, — проговорил Ладонщиков, продолжая сидеть на камне. — Все было бы уже позади. Для меня.

— Ты слишком много думаешь о себе, — сказала Жанна. — А это свинство, Толик. Из-за тебя мы вынуждены сидеть в темноте.

— Скоро я перестану думать, — отозвался Ладонщиков. — Свет погаснет и во мне самом. И вы никогда не найдете меня, хотя я еще какое-то время буду оставаться рядом с вами. Отпустите меня. Ведь вам нельзя без света. Свет — это то, что связывает людей. И еще голоса. Без света и звука люди никогда не нашли бы друг друга. В темноте вы станете молчать: вас захлестнет ужас и вы лишитесь дара речи. Мысль о принадлежности к человечеству вас также не будет связывать, потому что человечества нет. И нет труда, который вас объединил бы. И защитить друг друга вы не можете. Вы — листья, которые уносит ветер... Если у нас не было права на жизнь, то, значит, у всех нас есть право на смерть. Я хочу воспользоваться этим правом, пока мой рассудок способен вести меня. Что за жестокость — удерживать меня! Я пойду! Я пройду мимо ч у ж о г о, как тень. Я включу электростанцию, и он поймет, что кто-то из нас вышел, что враг у него за спиной. Он станет искать меня. Я открою лаз и выйду. Он последует за мной. И тогда я убью его. Ломом, бревном. Просто задушу. Вы будете свободны. А я уйду. Я опасен для вас! — закричал Ладонщиков. — Я безумец! А безумие — это зараза! Пустите меня!

Он сбил с ног Кузьмина, который попытался было удержать его, ударом ноги отбросил Саида, оказавшегося у него на пути, и нырнул в туннель.

— Это еще не безумие, — сказала Жанна. — Это только отчаяние. Будем мужественными, друзья.

Ладонщиков передвигался боком, вдоль стены, прижимаясь к ней спиной, делая короткие и редкие шаги, осторожно ставя ногу, без шума, как тень в темноте. Необходимость держать себя в постоянном напряжении, доминанта цели, на которой была сосредоточена вся его воля, позволяли оставаться самим собой, человеком, совершать разумные действия, сжигать в огне единственного решения и отчаянной решимости тошноту, бред, безумие и страх неизбежного конца. Он знал, что все это — последнее, за гранью той жизни, где возникают вопросы. Здесь были только ответы: смерть не стоит страха; зло не достойно жизни; жизнь до конца прекрасна для мужественных людей.

Он даже любил себя в эти минуты. И жизнь любил, чувствуя себя ее посланцем, ее орудием. Она, великая, неуничтожимая и мудрая, избрала его для исправления косного и случайного мира, окраины, поросшей чертополохом зла и безрассудства, сказала: «Иди!», и он идет, презирая тьму, страх и боль, зная, кто и что за ним.

Он вжимался в каждую неровность стены, в каждую нишу, осторожно, кончиками пальцев, чтобы не обрушить хрупкий кирпич, ощупывал стену впереди себя и продвигался вперед, готовый замереть в каждое мгновение, если вспыхнет встречный свет.

Он был шагах в тридцати от пересечения коридоров, от того места, где вышагивал ч у ж о й, а может быть, и ближе, это ему только так представлялось, что до ч у ж о г о осталось шагов тридцать, когда он вдруг понял, чего ему не хватало и всем другим не хватало в той, нормальной жизни: не хватало злости. Порог, за которым пробуждалась в людях праведная злость, был слишком высок, порог терпения. А зло творило свое черное дело исподволь, понемногу, накапливалось, перешептывалось, перемигивалось, убаюкивало бдительных, нервных — «А я что? Я — ничего!», — для других же росло незамеченным, притиралось к ним, приучало к себе, ждало своего часа, стартового выстрела. Порог терпения должен быть минимальным. Благородная ярость должна вскипать

в людях при малейшем посягательстве на их жизнь и достоинство, скорой и суровой должна быть кара всякому злу. Сироп бездушия и всепрощенчества должен быть заменен в системе кислотой, той самой лютой кислотой, в которой не растворяется только благородство. Но не станут ли тогда другими люди? — спросил себя Ладонщиков и сам же себе ответил: конечно, они станут другими. Будет меньше нежности между ними, короче станут ласки, поубавится смеха и веселья, игры — люди перестанут быть детьми. Да и то — пора! Пора, пора! Потому что дьявол старше и хитрее...

Вот и в нем, в Ладонщикове, всегда недоставало благородной злости: хамство видел — терпел, обман видел — отворачивался, прощал ложь, коварство, измену, потому что так спокойнее, удобнее, приятнее жить: ведь все хорошо, все хорошо!.. А зло-то и укрепилось тем временем. Да в ком укрепилось то? Разве не в людях? И что же это такое, почему? Все дети — ангелы, а зло приходит потом. Стало быть, добро не взростает. Какое же оно — повзрослевшее добро? Повзрослевшая ласка, повзрослевшая нежность, повзрослевшее простодушие, повзрослевшая доверчивость, преданность, щедрость, любовь — какие они? Соединившиеся со своей противоположностью, обоюдоострые, в ножнах высокого и ответственного разума.

В тридцати шагах от ч у ж о г о Ладонщиков понял, что убьет его, не дрогнув, без страха и брезгливости, сделает это как должное, потому что он спасает ребенка, имя которому — добро. И пусть поздно, пусть один... Там, в убежище, в алтарной, он только сказал, что убьет ч у ж о г о, а здесь он понял, что непременно убьет, что желает этого, не может не желать, потому что, пройдя путь от убежища до этого места, изменился, стал другим, повзрослел...

Через несколько минут он достиг пересечения коридоров, но ч у ж о г о там не обнаружил. Он звал его, но тот не только не откликнулся, но не выдал себя даже малейшим шорохом.

— Проклятый! — сказал Ладонщиков, чувствуя, что слабеет душой и телом, тяжелеет и клонится к земле. — Проклятый! — закричал он, обливаясь слезами, и, повернувшись в сторону убежища, произнес уже шепотом: — Прощайте!

Не хоронясь более, он добрался до штольни. Включив двигатель электростанции, сидел на полу под пультом, уронив на грудь голову, дремал и бредил, не извлекая из дремы и бреда ни мысли, ни желания. Затем заглушил двигатель и открыл лаз. Не увидел света и подумал, что опять наступила страшная ночь. Но это была обыкновенная ночь: сквозь мглу светились звезды. Он выполз наружу и услышал вой шакала. Шакал выл рядом. Он лежал на боку и завывал, скидывая голову, совсем не обращая внимания на Ладонщикова. Он подышал.

Теперь он мог уйти, зная, что никто не пустится за ним в погоню. Уйти, не заметая следа, в любом направлении. Да и ни на что другое он уже не был способен, он едва держался на ногах. Оставалось только закрыть днищем лаз. И, может быть, попить воды в последний раз.

Он вполз в лаз и услышал приближающийся звук шагов.

Ладонщиков был убит выстрелом в голову. Но он об этом не узнал, потому что потерял сознание за несколько секунд до выстрела.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Зверь старше человека. И опытнее его. И яростнее. Человек вырос на звере, как вырастает камнеломка на базальте — нежное растение на черном камне, выплеснутом с грохотом и пламенем из кипящего чрева земли. Человек — большая новость для старого подлунного мира, его самая хрупкая часть, потому

что в состоянии человека себя удерживает только человек, не зная толком, где он начинается и где кончается, что только окрашено в человеческие тона, а что подлинно, что глубинно. В школе нас учили: человека создал труд. И это — истина. Хоть и не вся, потому что вся истина нам не дается, как мы ни стараемся извлечь ее из хаоса. Но вот, что кажется давным-давно не вызывает в людях никакого сомнения: труд создал общество. И если человек, как сказал Аристотель, общественное животное, то это общественное животное, действительно, создано трудом. Человек производящий создал общество, а общество создало человека мыслящего. Мыслящего о чем? О производстве и воспроизводстве собственной жизни. Не мало ли? А если вырваться из этого круговорота мысли и жизни, если проткнуть изнутри этот шар человеческого бытия? Что тогда откроется человеку и в человеке? Разум мира и разум человека.

В студенческих спорах, которые время от времени стихийно возникали в сто шестьдесят второй комнате общежития, в которой Кузьмин жил вместе с Ладонщиковым, не раз и не два настойчиво звучала мысль о том, что надо любить не человечество, а людей, конкретных людей — Иванова, Петрова, Сидорова, что человечество любить легко, а близких своих — трудно, потому что любовь к человечеству — занятие теоретическое, а любовь к ближнему требует практических действий. Мысль эта, на первый взгляд, кажется настолько правильной, настолько безупречной, что спорить с ней представляется делом безнадежным, ненужным, глупым, наконец. От ослиного упорства, от противности, от дурного настроения можно, разумеется, решиться и на глупое дело. А от любви к истине? Кузьмин в спорах отвергал эту мысль из любви к истине. Не всегда успешно, но всегда бескомпромиссно и страстно. Вот его главные аргументы, которые он и теперь считает достаточными: любить человечество — значит всегда оставаться верным его высоким принципам, законам, установлениям, а это не только теоретическое занятие; любить ближнего, Иванова, Петрова, Сидорова — чаще всего означает потакать их слабостям, к тому же почти всегда — за счет других, ибо того, чего не хватает всем, не хватает и ближним твоим. В человеке следует любить только Человека, человечество, восхождение подобного к своему Образцу. Все же иное достойно нелюбви и даже презрения. А если к этому иному склонена любовь чья-то, то в этом и погибель: на книгах жарим яичницу, музыкой ублажаем коров, картинками забиваем щели в стенах... Гении любят человечество! А Ивановых, Петровых и Сидоровых ублажают посредственности, ублажают их посредственность, которая ненавидит гениев.

Жанна сидела возле него, но ни о чем не спрашивала, ни о чем не говорила. Молчала. И Саид молчал. Да и Кузьмин размышлял не вслух, потому что надо было постоянно прислушиваться к шагам ч у ж о г о, не приближается ли он, не подкрадывается ли к их убежищу. И размышлял он не так последовательно, потому что слова хоть и рождаются из мыслей, сами мысли рождаются подобно тому, как рождаются волны на поверхности океана: возникают по его, океана, законам, но по воле ветра, который вольно гуляет по ним. Мысли — волны, время — ветер. Воспоминания о некогда высказанных мыслях — воспоминание о некогда прожитом времени. Кузьмин вспоминал свою комнату в общежитии — о-хо-хо, две койки, две тумбочки, большой фанерный шкаф, в одной половине которого он, как и Ладонщиков, хранил свою одежду, а в другой продукты — хлеб, сахар, консервы и все такое прочее, что не требовало хранения в холодильнике, которого у них не было, но зато был широкий заоконник, куда они выставляли на холод колбасу, молоко, котлеты, маргарин; еще у них в комнате был стол, сколоченный в начале века из толстых дубовых досок, тяжелый и прочный, как основание Александрийской колонны. Он продал себе ножками в

паркетном полу ямки и потому всегда стоял на одном и том же месте — посреди комнаты. За этим столом сживали их друзья — ах, шумели! ах, пировали! Кулаками по столу били, нож в него втыкали, окурки об него гасили, кукарекали под ним, когда проигрывали в карты, а некоторые даже танцевали на нем среди тарелок с винегретом, под двухсотваттной электрической лампочкой. Об этих некоторых особенно сладко вспоминать, потому что они были представительницами прекрасного пола. Сладко и опасно. И больно... Что же случилось? Жанна... Да влюблен он в нее, влюблен! Счастье и проклятье одновременно. Заколдован — это уж точно. Не надо было смотреть на нее из ямы, из раскопа. А то ведь тарашил глаза, открылся ее тайным чарам, они и овладели им. Как вошли, как влились в сердце, какой томительной сладостью... Она сидела у раскопа на походной скамеечке, срисовывала замысловатый орнамент с только что извлеченного из раскопа камня — Ладонщиков выкатил его из ямы и положил у ног Жанны, — сидела к ним боком, прямая, тонкая, изящная, не смотрела на них, только иногда чуть-чуть косила в их сторону глазами, была занята делом, а он, Кузьмин, бесстыже глазел на нее из ямы и доглазился — опьянел от желания и погиб. Оттого погиб, что желание укоренилось в нем, в каждой его клеточке, проросло и расцвело самыми нелепыми мечтами... Уж до того нелепыми, что и Степана Степановича Клинцева, мужа Жанны, он убивал в этих мечтах, иногда по-рыцарски, в поединке, а иногда коварно, тайно. И сгорал, ну просто сгорал весь от мучительной влюбленности, вечно вертелся возле Жанны, оказывал ей тысячу знаков внимания, надоел ей, нарывался на откровенный отпор и резкость, раздражал Клинцева, но остановиться не мог. И когда Клинцов ушел в лабиринт — о проклятие! — тайно пожелал ему смерти, зная, что это подло, преступно, страшно. А когда Клинцов не вернулся, что-то дьявольское происходило в нем помимо его воли, постыдное, за что, наверное, придется расплачиваться ему, от чего надо будет откупаться дорогой ценой, чтобы не потерять к себе последнее уважение. Вот не пожелал бы смерти Клинцову, так утешал бы теперь Жанну с любовью, нежно и простодушно, как друг, как брат, а то ведь ее потеря — его приобретение, так это получается. И все это потому, что в начале было желание овладеть Жанной, а не желание подарить ей себя, засветиться пред нею, сжигая в себе весь мусор. Конечно, и то и это — любовь, только цвет пламени там и тут разный: там дымно-красный, здесь прозрачно-голубой, как закаты и рассветы на акварелях Жанны... Закаты и рассветы над пустыней, когда или все закончено или ничего не начато. Он любил акварели Жанны, маленькие, величиной с ладонь квадратики плотной бумаги, по которым прошла ее тонкая колонковая кисть, оставив дивным образом след, в котором живет свет пустыни — песков, барханов, неба, солнца, бесконечных далей. И ее собственный свет, свет художника, объединяющий все в образ, символ, светящуюся мысль о Начале и Конце. И в том наша прозорливость, чтобы в начале узреть конец, а в конце увидеть новое начало, — закат в рассвете и рассвет в закате, печальную радость и радостную печаль. Чтобы жизнь принимать, как умирание, и умирание — как жизнь. Это соответствует человеку, возвышает его над единичностью бытия, над безумством кретинов, которые озабочены лишь тем, как продлить жизнь и укротить умирание, не понимающих того, что они укорачивают жизнь и продлевают умирание.

Однажды Кузьмин спросил Жанну, зачем она рисует. Жанна ответила: «Когда я рисую, я думаю. — И спросила: — А когда вы смотрите на акварели, вы не думаете?» Конечно, он думал. Потому, вероятно, и смотрел. Но теперь ему кажется, что он скорее слушал, чем думал. Рассматривая акварельки, он слушал Жанну. И чувствовал себя перед нею мальчишкой перед Венерой Милосской...

— Получить бы хоть какую-нибудь весточку оттуда, — сказала Жанна,

нарушив долгое молчание, — тогда можно было бы ждать. А так — нет сил. Толик, конечно, не вернется, — вздохнула она. — Ах, Толик, Толик...

Они не слышали выстрела, прозвучавшего несколько часов назад у выхода из штольни, они думали, что Ладонщиков ушел в пустыню после того, как выключил подпитывшую аккумуляторы электростанцию.

— Странно, что ч у ж о й его пропустил, — сказал Кузьмин, мучаясь тем, что скоро и ему придется отправиться в штольню, попытаться пройти мимо ч у ж о г о — как только начнут садиться аккумуляторы или кончится вода.

— Ты не пойдешь, — сказала ему Жанна, словно подслушала его мысль. — Когда понадобится, пойдет Саид.

Саид, услышав свое имя, вздрогнул и напряжился, готовый к немедленному исполнению приказа, который он не понял.

— Нет, — ответил Жанне Кузьмин. — Так нельзя. — И хотя он обрадовался словам Жанны — она предпочла оставить возле себя его, а не Саида, как последнюю свою опору, последнего своего товарища, в чем заключалось признание его несомненной ценности для нее и, может быть, даже запоздалое признание в любви, он все же решил, что это подлая радость, что, прояви он ее сейчас открыто, возможно, не выдержал бы испытания, которое Жанна так искусно приготовила для него: так легко было беспредельно и безвозвратно пасть в ее глазах, а он удержался на самом краю пропасти — и вот этому стоило радоваться. — Так нельзя, Жанна! — повторил он.

— Да, так нельзя, — согласилась она.

— Спасибо, — искренне поблагодарил ее Кузьмин.

— За что? — спросила Жанна.

— За определенность.

Они снова молчали так долго, когда начинает казаться, что уже невозможно заговорить, если ничего не произойдет. Во время такого молчания становится ощутимой убыль жизни. Молчание без ожидания, без надежды — утрата, тягостные проводы времени, которое уходит, невозможная длительность, обрекающая на отчаяние.

— Толика нет, — сказал Кузьмин, и это было уже так трудно сделать, как пройти сквозь стену.

— Толика нет, — в ответ, словно эхо, прозвучали слова Жанны.

Саид с облегчением вздохнул: он не понял, о чем заговорили Кузьмин и Жанна, для него было облегчением услышать их голоса.

— Тогда так, — продолжил Кузьмин. — Есть предложение. Я обследую соседние камеры. Почти бессмыслица, конечно. Но и наше бездеятельное сидение — полная бессмыслица. Вдруг удастся проломить стену и выйти в другой лабиринт. Не знаю, что это нам даст, но, может быть, это приблизит нас к спасению. Не знаю.

— В другой лабиринт? — переспросила Жанна. — Разве может быть спасение в другом лабиринте? Ведь это только другой лабиринт. Уходить надо вверх. Клинцов говорил, что надо уходить вверх, в белую башню. Сквозь этот могильный холм, который над нами, и выше. Выше черных туч. Там чисто, светло и просторно...

— Не надо, Жанна, — попросил Кузьмин. — Как — вверх?! Давайте говорить только о реальных вещах, о реальных возможностях и действиях. Иначе мы договоримся черт знает до чего. Ох! — вздохнул он, почти простонал, и этот стон вырвался из него помимо его воли, предательский стон, непозволительный — из самой сердцевины тоски и отчаяния, жалкий, стыдный, как испуг от неожиданной боли, которую следовало бы скрыть, не показывать, преодолеть.

— Что? — тревожно спросила Жанна.

— Ничего! — грубо ответил Кузьмин, злясь на себя и за стон, и за эту грубость. — Просто не надо болтать — это раздражает. И пугает, — добавил он, смягчаясь, чтобы не извиняться. — Подумайте, Жанна: как это — вверх? Вознестись? Что вы такое говорите? Вверх реального пути нет. А надо говорить только о реальном. Чтоб не свихнуться.

— Конечно, конечно, — согласилась Жанна. — Только о реальном. Потому что душа — это фикция. Бессмертная душа — это фикция вдвойне. Я понимаю. И не заговариваюсь. Просто жаль, Кузьмин, что это так, потому что истинная дорога — это все-таки дорога вверх... Ползать — это ужасно, Кузьмин. Я лишь об этом. Мы ползаем...

Кузьмин промолчал, чтобы не продолжать разговор, передал пистолет Саиду.

— Задержись еще на несколько минут, — попросила его Жанна, когда он встал. — Посиди возле меня. Такой стих нашел, хочу рассказать тебе несусветную историю, — продолжала она, положив руку на плечо Кузьмину, когда он сел рядом. — Что ж нам теперь суетиться? Насуетились. Базар, Кузьмин, базар — Монастыраки. Ты знаешь, Кузьмин, что такое Монастыраки? Не знаешь. Это торговый квартал в Афинах, где сплошь лавчонки, где бойкая торговля идет с лотков, тележек, с ковриков, просто с земли, где торгуют всем, что только можно себе вообразить: поддельными иконами, поддельными амфорами, копиями скульптур великих ваятелей, копиями древних монет, макетиками античных храмов, настоящим оружием, Кузьмин, — я видела пистолеты и автоматы, — военным американским обмундированием, касками, патронами, дисками с записями самых модных певцов и оркестров, они всюду вертятся, гремят. Масса всякого другого барахла, порнографических журналов, детективных романов, старой рухляди. Можно купить, например, каретный фонарь, пишущую машинку прошлого века, меч, турецкую саблю, дуэльные пистолеты с кремневыми замками, кандалы, Кузьмин... Шум, гам, толчея. Словом, Монастыраки. Это — если бродить по лабиринту улочек. А если посмотреть вверх... Как ты думаешь, Кузьмин, что можно увидеть, если посмотреть вверх?

— Небо, наверное, — ответил Кузьмин.

— Нет, Кузьмин. Больше чем небо. Если посмотреть вверх, виден Акрополь, виден Парфенон. Потому что Монастыраки — у подножия Акрополя. Жанна замолчала.

— И что же из всего этого следует? — спросил Кузьмин.

— Там — тишина, — ответила Жанна.

— И все?

— Ты не понимаешь? Да, ты не понимаешь, — огорчилась Жанна. — Там мрамор, солнце и тишина. Там возрождается человеческая душа, Кузьмин. Из суетности, из мути, из грязных сгустков распада — живительной силой Истории и Красоты. Дорога на Акрополь — дорога вверх, от Монастыраки к Парфенону, почти к солнцу, потому что утром солнце смотрит сквозь Пропилеи в глаза идущим вверх... Рано утром, когда вход в Акрополь был закрыт, я поднималась по выбитым в скале ступенькам на холм Ареса, Арейос пагос, Ареопаг, это совсем рядом с Пропилеями, только чуть ниже, и там сидела, то глядя вниз на Афины, то вверх — на Акрополь. И вот что со мною было тогда, Кузьмин: я всех жалела, я всех прощала и всех любила... Бедные люди — их жизнь коротка, их жизнь трудна, грязна, а я словно обретала бессмертие и божественную силу. Это — от причастности к великой Истории и вечной Красоте, Кузьмин. Я старалась удержать и утвердить в себе это самоощущение и ощущение мира. Я плакала при мысли, что не смогу этого добиться. Я рисовала и рисовала, сделала десятки этюдов, работала как одержимая, я срасталась с этой прекрасной и зримой историей, вгоняла ее в себя, билась об нее, растворялась в ней. Я хотела смотреть

на мир только через нее, стать человеком Истории и Красоты, потому что видела в этом блаженство и истину. И выход для всех. Выход вверх. Вот что это было, Кузьмин.

Кузьминым овладевало нетерпение: надо было идти, надо было долбить стену, потому что он так решил, и это решение жгло его. Он встал, но еще не мог уйти и спросил, скрывая раздражение:

— Разве вы гречанка?

— Я? Гречанка? Почему? — удивилась Жанна.

Кузьмин знал, что задал заведомо глупый вопрос, но отступить не хотел, сказал, отвернувшись и думая о том, где может быть топор, который он собирался прихватить с собой:

— Так ведь вы все время об Акрополе, об Афинах... Другого такого места на земле нет?

— Бедный, бедный Кузьмин, — со вздохом проговорила Жанна. — Так давно сказано, что нет ни эллина, ни римлянина, ни иудея, что есть только человек, а ты все туда же, Кузьмин. Ну не стыдно ли?

— Простите, — сказал Кузьмин. — Я пойду. — Добавил, обращаясь к Саиду: — А ты будь внимателен. Стреляй на первый же подозрительный звук, на первый шорох. Не спи! — Сказал все это по-русски, забыв о том, что Саид его не понимает.

— Хорошо, — ответил Саид. — Я буду внимателен. Аш-шайтан сюда не войдет.

Саид ответил Кузьмину на родном языке, но Кузьмин понял его, словно он говорил по-русски, совсем не удивился, потому что не осознал этого, а следовало бы еще удивиться и тому, что Саид понял его. Жанне тоже не показалось это странным, во всяком случае ни словом не обмолвилась по этому поводу.

Кузьмин нашел топор среди сваленных возле жертвенника теперь уже никому не нужных вещей. Здесь были коробки с археологическими находками, рюкзаки, одежда, кожаные сумки с инструментами, бумагами, принадлежащий Жанне этюдник, штативы, планшеты, обувной ящик с ваксой и щетками, гладильная доска, два утюга — совсем ненужные вещи. Кузьмин ударил срезом топора о жертвенный камень, чтобы насадить топор поглубже, щелкнул по звонкой отточке ногтем, как заправский плотник, улыбнулся мелодичному звуку, а может быть, чему-то другому, что воскресил в его памяти этот звук, и отправился в камеру, в которой некогда располагались Селлвуды, Майкл и Дениза. Осветил стены фонариком, прошел в глубину, постучал по рыхлым кирпичам обухом топора. Звук был глухой, посыпалась пыль и крошка. Понял, что простукивание стен ничего не даст — слишком мягким был кирпич, что звук от ударов его топора всюду будет одинаковым. Оставалось одно: выбрать какой-то участок стены и попытаться ее прорубить. Выбрать наугад или как подскажет интуиция, потому что разумных оснований для такого выбора не было.

Кузьмин не стал прорубать стену в камере Селлвудов, перешел в другую, в ту, что была за жертвенной ямой, напротив главного входа. Он выбрал именно эту камеру по двум причинам: если ему удастся прорубиться в лабиринт, то этот лабиринт, как ему думалось, будет другим лабиринтом, а не тем, в котором хозяйничает ч у ж о й; из этой камеры, если оглянуться, был виден вход в их убежище, сидящие по его сторонам Саид и Жанна, которым, возможно, понадобится его помощь и которые могут оттуда легко окликнуть его.

Из образовавшейся вскоре под ударами топора ниши он выгребал обломки кирпича руками, так как среди сваленных у жертвенника вещей не оказалось лопаты. И хотя для него это была почти привычная работа — в раскопе на холме он делал с Ладонщиковым едва ли не такую же, — он с отвращением вдыхал

глиняную пыль, которая дурно пахла и, смешиваясь с его потом, превратила его, как ему казалось, в червя — он стал слизким и липким. Сравнив себя однажды с червем, он затем все чаще возвращался к этой мысли, она становилась для него все более мерзкой и наконец сделалась совсем невыносимой. Он бросил работу и вышел из камеры, чтобы немедленно умыться и отдышаться.

Он умылся у жертвенника, зачерпнув кружкой воды из кухонного котла. Умываясь, он закрыл глаза, его неожиданно качнуло и он едва не упал в яму, возле которой стоял, чудом удержался на ногах, но обронил кружку, которая скатилась в яму на камни. Это была кружка Глебова, он ее хорошо помнил — железная, эмалированная, с красными цветочками на белом фоне. Глебов утверждал, что эти цветочки называются смолевками. Следовало бы, конечно, спуститься за кружкой в яму, но не было сил. Решил, что достанет ее, когда отдохнет. Ища полотенце, чтобы утереться, он развязал свой рюкзак. Из свернутого полотенца выпал металлический баллончик с дезодорантом. Кузьмин вытер лицо и оросил себя жидкостью из баллончика. Она пахла сеном. Луговым сеном — смесью цветов и трав.

— Боже мой, — произнес он шепотом, валясь на постель, — где же все это?.. — Закрыл глаза и увидел луг, вернее, тропинку через луг, высокую свежую траву по обеим ее сторонам, светящуюся от росы. И так долго перед его мысленным взором была эта картина, что он успокоился и уже почувствовал себя счастливым и свободным. Кто под небом на лугу, тот свободен... Конечно, бедные люди — жизнь и коротка, и трудна, и грязна, но они живут не в норе, не в яме, не в глиняном холме, а на свету среди трав и деревьев, среди птиц и зверей. И могут умыться луговой росой...

Кузьмин услышал шорох, открыл глаза и увидел, что рядом с ним сидит Жанна. Поднимаясь, он нечаянно коснулся рукой ее бедра и замер.

— Ты очень устал? — спросила Жанна участливо. — Я принесла тебе поесть. Тебе надо подкрепиться. — Она догадалась, почему он замер в неловкой позе, сказала: — Простительная неловкость, ты три часа долбил стену...

— Да, — обрадовался он, — я никогда бы не позволил себе...

— Пустое, Кузьмин. Никогда — это теперь такое слово... Все — никогда. Ешь, — она протянула ему консервную банку с рисовой кашей. — Вот вилка... Все — никогда, — повторила она. — Ничего. Понимаешь, Кузьмин? Ничего больше не будет. И никогда. Я иногда думала так. Когда приходили мысли о смерти. Но там было иначе: ничего и никогда для меня. Теперь — для всех. И что же это за мир? Что за Вселенная? Ни для кого. Ты можешь себе это вообразить? И если нельзя вообразить, то возможно ли такое?

— Возможно, — сказал Кузьмин.

— Зачем же ты тогда долбишь стену?

— Не знаю, — ответил он, перестав есть. — Но вот что я знаю: действие — это единственное, что может изменить ситуацию. Дух — это конечно, дух — это цель. Но действие — это единственное средство для достижения цели. Надо действовать, что-то делать. Или надо было действовать.

Вот именно: надо было. Но прежде надо было понять. Это я обо всех. Действовали много. Льдины сталкиваются и крошат друг друга во время ледохода, хотя движутся все в одном направлении. Нам надо было двигаться вверх, а мы толклись на Монастыраки. Тоже действие. Но ради какого общего движения? Ешь, Кузьмин, — потребовала Жанна. — Ведь ты снова пойдешь долбить стену?

— Пойду, — сказал Кузьмин.

— Ты боишься думать, Кузьмин?

— Боюсь, — неожиданно для себя признался он. — Не думать невозможно, а

думать — сойти с ума. Как Толик...

— А мне что делать? — спросила Жанна.

— Возьми краски и рисуй что-нибудь, — посоветовал Кузьмин. — Акрополь, например. Дорогу вверх.

— В твоих словах — ирония.

— Нет.

— Зачем же тогда?

— А что же еще? — Кузьмин вернул Жанне банку с кашей — он съел только треть. — Это тебе и Саиду, — сказал он. — А я пойду.

Сначала он расширил нишу, чтобы вместиться в ней самому, иначе пришлось бы долбить стену лежа на животе, вползая в нишу, как червь в нору, а он не хотел больше быть червем, он хотел работать стоя, как человек. Кирпичное крошево он выталкивал теперь из ниши ногами, хотя все время подумывал о лопате и о том, как ее соорудить, если не удастся найти готовую. Он работал почти четыре часа, но продвинулся вглубь не на много, может быть, на метр, не более. Внутренние слои кирпича были прочнее наружных. Топор звенел, словно Кузьмин рубил камень. Острая крошка секла лицо и руки, оставляя царапины и ссадины.

«Это тоже безумие, — сказал он себе, обессилив. — Можно долбить до второго пришествия и никуда не пробиться. Проще пойти и убить ч у ж о г о этим же топором».

Выйдя из ниши, Кузьмин повалился на пол от усталости. Лег лицом вниз, на руки, чувствуя, как тяжело и сильно бьется его сердце, как пульсирует кровь в натруженных руках, во всем теле, словно хочет разорвать его. Мучила жажда, но усталость была сильнее ее. Надо было отдышаться. И дать успокоиться сердцу, чтобы оно не лопнуло, не разорвало сосуды и не залило кровью мозг.

— Кузьмин, ты жив? — услышал он голос Жанны, обеспокоенной, должно быть тем, что он перестал долбить стену.

— Да, — с трудом отозвался он, приподняв голову. — У меня перекур.

— Иди к нам! — позвала Жанна.

Кузьмин не ответил: через несколько минут он намеревался снова взяться за работу. Да и не хотелось ему больше слушать разговоры про дорогу вверх. Какой там черт вверх?! Просто нужна другая дорога, в другую сторону, другой выход! Необходимо пространство, чтобы не чувствовать себя загнанным в тупик, какое угодно пространство, свободное от ч у ж о г о, от его мертвящего присутствия. А вверх — Это блажь, пустая интеллигентская мечта: тысяча одолеет дорогу вверх, наполнится светом Истории и Красоты, а одна тысяча первый нажмет на кнопку и превратит все в пепел — завистник, кретин, мизантроп, копеечная душа!.. Или убить, или оставить его в другом лабиринте за толстой стеной... За каменной стеной, за железной, за стальной!.. Или убить... Взять топор и отправиться на охоту за ч у ж и м. Кузьмин вообразил себя идущим по лабиринту с топором в руке. Страшное надо сначала пережить хотя бы в воображении. Это как прививка против чумы или оспы. Чтобы потом не погибнуть, чтобы приобрести иммунитет. Только надо знать дозу. Обязательно надо соблюсти дозу. Это касается и воображения. Чтобы не угробить себя прежде смерти. Надо, как во сне: умираешь во сне, но просыпаешься живым. Так и с воображением... Он остановился, услышав шаги ч у ж о г о... Но где грань, у которой следует остановиться?.. Кузьмин занес топор над головой, готовясь к встрече с ч у ж и м. Шаги приблизились, но они никому не принадлежали — воображение вплелось в сон, который незаметно одолел Кузьмина. Пошла путаница, потом нечто совсем о другом — он летал над Монастыраки, над толпой-муравейником, и звал всех вверх, но никто из толпы не откликнулся на его призывы, никто не воспарял над ней...

— Его разбудила Жанна. Она растолкала его. Он просыпался тяжело, со стоном, потому что за мгновение до этого упал и разбился, так что ему надо было не только проснуться, но и воскреснуть.

— Что-нибудь случилось? — спросил он, с трудом стряхнув с себя оцепенение.

— Я звала — ты не отвечал. Пришла и увидела, что ты лежишь. Мне показалось, что ты не дышишь. Стала будить.

— Ты уронила меня, — сказал Кузьмин.

— Во сне?

— Ага, — зевнул Кузьмин. — Уже было так хорошо — ничего нет, ничего не надо... Умирал один больной. Он умирал, но искусные врачи вновь воскрешали его к жизни, он проклинал их и вопрошал: «Зачем? Зачем вы меня вернули?..» Все тихо? — спросил он уже по-деловому. — Никто не возникал?

— Все тихо, — ответила Жанна. — Огонек лишь однажды вдали промелькнул. Мы думали, что там Толик. Закричали. Но огонек исчез. Ты не слышал, как мы кричали?

— Нет.

— Ты будешь работать?

— Да, — Кузьмин встал, поднял с земли топор.

— Я склеила несколько кусков картона и промазала белилами стыки, — сказала Жанна. — Вставила в мольберт. Нашла краски. Но они ужасны при этом освещении. Потом, на свету, картина будет дурной.

— На свету? — переспросил Кузьмин. Он при этом подумал: «Когда это — на свету? Кто ее увидит на свету? — И остался ли там хоть кто-нибудь, на этом свету?» Все это так или иначе прозвучало в его вопросе. Жанна вздохнула и пошла к выходу. Кузьмин не остановил ее. Войдя в нишу, он снова принялся за работу. Не так неистово, как прежде — разумнее, расчетливее, с мыслью о том, что ему предстоит махать топором, очевидно, еще не один десяток часов, пока что-либо не прояснится: либо то, что выхода нет, либо то, что он никому не нужен. Но, может быть, и повезет: он пробьет стену и выйдет в другой лабиринт. А что потом? Об этом он уже однажды подумал и больше думать не хотел. Достаточно того, что выход изменит ситуацию, которая сейчас невыносима.

Кирпич под ударом проломился, и топор проник в пустоту. Не очень глубоко, сантиметров на двадцать. Кузьмин толкнул его, но топор дальше не пошел, снова уперся в стену. Тогда Кузьмин вынул из-за пояса фонарик и осветил пролом. Пустота оказалась полостью вмурованного в стену черепа.

Череп — хоть и находка для археолога, не не такая уж редкая: в древних захоронениях — ох, сколько черепов. И не возбуждает в археологе каждый найденный череп чувств и мыслей, подобных тем, что вызвал у Гамлета череп шута. Белка опустошает орехи, время — черепа. Этот афоризм изобрел Толик. Бедный Толик... И все же Кузьмин помедлил со следующим ударом. Зачем и когда это сделано? И почему именно он, Николай Кузьмин, через столько веков прорубился к этому черепу?

Археологи не верят в приметы. Все прошлое — только прошлое. Оно зачеркнуто временем, засыпано песком, завалено камнями. И лишь постольку имеет отношение к настоящему, поскольку найдено и извлечено из-под пыли веков археологом. Череп ли это, золотой ли кувшин, бусинка или наконечник стрелы — только след прошлого, ничего более.

Но если ты прорубаешься к выходу сквозь череп — значит ли это что-нибудь?

Кузьмин стал рубить стену рядом с черепом и наткнулся на позвонки...

— Сволочи! — выругался он, утирая пот. — Все-таки уколошили кого-то. И замуровали. Думали, что скроют свое преступление. А я обнаружил. Проклятие

вам, убийцы, проклятие... Через тысячелетия и на все будущие времена. Пока есть люди, ничего не удастся скрыть. И нас найдут... Если есть люди...

— Ты разговариваешь сам с собой, — сказала Жанна. — Думать и разговаривать — это не одно и то же, Кузьмин. — Жанна стояла у входа в камеру, прислонившись к стене плечом. Кузьмин только теперь увидел ее. — Мысль, звучащая в слове — это для другого, — продолжала она. — А если другого нет, это — как кормление несуществующего ребенка...

Кузьмин повернулся к ней спиной и принялся рубить. Он не хотел говорить Жанне о черепе. Пусть и на малую толику, но череп облегчил ему работу, потому что был пустотой. Все прошлое — пустота. Но разве она куда нибудь ведет?..

— А ты не работаешь! — обернувшись, сказал он Жанне. — Ты не работаешь! Почему?

— Он стоит в дальнем конце туннеля и светит, — ответила Жанна. — То есть я не знаю, стоит ли он там, но там свет.

— Кто стоит? Кто светит?

— Ч у ж о й.

— Почему же Саид не стреляет?! — закричал Кузьмин. — Почему же он, черт возьми, не стреляет?! — Кузьмин бросил себе под ноги топор и направился к Саиду.

Саид молча протянул ему пистолет.

— Ух, болван! — обругал Кузьмин Саида. — Ведь обещал же стрелять! Он обхватил рукоятку пистолета обеими руками, стал в середине прохода и выстрелил. Свет в дальнем конце туннеля мгновенно погас. Прозвучал ответный выстрел. Пуля срикошетила от потолка в нескольких метрах от Кузьмина и впила в пол у самых его ног. Саид схватил Кузьмина за брючный ремень и утащил в укрытие.

— Теперь ты болван, — сказал он Кузьмину. — Аш-шайтан проверяет, есть ли у нас патроны. Когда мы израсходуем все патроны, он просто придет.

— Когда ты научился говорить по-русски? — спросил Саида Кузьмин.

— Я? По-русски? — удивился Саид. — Разве я говорю по-русски?

— Ладно, черт с тобой, — сказал Кузьмин. — Я все равно тебя понимаю.

— Я тебя тоже понимаю. Но разве ты говоришь не по-арабски?

— Ч у ж о й снова включил свет, — сказала Жанна.

— Мы не будем больше стрелять, — ответил ей Кузьмин. — Не будем стрелять в свет. Только в него. Когда подойдет.

Кузьмин вернулся в нишу.

— Когда ты стучишь, — сказала ему Жанна, — Саид не слышит, что происходит в туннеле. Если ч у ж о й об этом догадается, он погасит свет и приблизится к нам.

— Скажете мне, когда погаснет свет, — ответил Жанне Кузьмин. Работая, он думал теперь о ч у ж о м. О том, слышит ли он стук топора, и если слышит, то почему до сих пор не воспользовался им как прикрытием, почему не погасил свет и не подкрался к убежищу. Не слышать стука он не мог. Значит, не хочет воспользоваться этим прикрытием. Или не может оценить его? Не в состоянии оценить, потому что глуп. Или ослабел? От голода? От поражения радиацией? Ведь и он не защищен. Или его поведение основано на чем-то таком, о чем не может догадаться он, Кузьмин?

«Думай, думай, — мысленно приказал себе Кузьмин. — Шевели мозгами».

— Шевели, шевели! — произнес он в такт ударам. — Думай! Думай! Думай!

Топор чиркнул по вкрапленной в кирпич гальке и чуть не вырвался из рук. Кузьмин потерял равновесие и больно ударился лицом о корявую стену. Ощупал пальцами губы, нос, скулу. Верхняя губа была рассечена, с носа и левой скулы

содралась кожа. Следовало бы все это промыть хотя бы водой, но Кузьмин лишь облизал губу, сплюнул и снова принялся за работу.

— До свадьбы заживет, — сказал он себе. — Тем более, что она еще и не намечается...

Мысль о том, что Жанна может подумать о нем, будто он трус, пришла к нему так неожиданно, что он остановил топор в замахе. В такой мысли был резон — вот простое рассуждение, которое могло прийти Жанне в голову: он занимается бессмысленным долблением стены лишь для того, чтобы не идти на поединок с ч у ж и м. И, стало быть, он — трус. Это он сказал первым, что Толика нет. И хотя потом отверг предложение Жанны, что теперь пойдет Саид, сам не пошел, придумал себе дело, а фактически — предлог для того, чтобы не идти на встречу с ч у ж и м.

Жанна сидела на ящике перед мольбертом, сложив руки на коленях. Лицо ее было в тени, так как она сидела спиной к свету, лицом к освещенному мольберту. На белом картоне, вставленном в мольберт, не было ни одного штриха, ни пятна краски. Подойдя ближе, Кузьмин увидел, что у Жанны закрыты глаза. У ее ног на земле стояла нераскрытая коробка с красками и прислоненная к ней палитра — хорошо выскобленная овальная дощечка. Жанна услышала его шаги и обернулась. Улыбнулась, сказала виновато:

— Не работается. Не могу. Как представлю себе белые колонны Парфенона, так плачу. Вся душа в слезах.

— А ты бы что-нибудь другое, — посоветовал Кузьмин, садясь на пол у мольберта. Он дьявольски устал — от работы, от мыслей, от всего.

— Пробовала, то есть вообразить пробовала — все равно. Все прекрасное, что за этими стенами, я оплакиваю...

— И что ты пробовала вообразить?

— Мыс Сунион, — не сразу и с некоторым опасением ответила Жанна, — храм Посейдона... Там удивительные закаты, — заговорила она торопливо, чтобы не дать Кузьмину оборвать себя грубым словом — при упоминании о мысе Сунион на его лице появилась печать досады, раздражения. — Там розовые и лазурные закаты. И очень высокая тишина!.. Море открыто далеко, до самых Киклад, и виден берег Пелопонесса. Могучие колонны храма Посейдона стоят над высоким обрывом. С этого обрыва, говорят, бросился в море старый Эгей, когда увидел черные паруса на корабле Тезея... Это случилось очень давно, — печально засмеялась Жанна, — в тринадцатом веке до нашей эры. Но мне было так жаль старого Эгея, что я все время, когда бывала там, думала о нем. Мне казалось, что прекрасные закаты — это в его честь... И еще там был ветер. Такой чистый и влажный... Будет ли это еще, Кузьмин? А люди? Где же люди, Кузьмин?

— Я думаю, почему ч у ж о й до сих пор не перерезал провода, которые ведут к аккумуляторам? Ведь это так просто: чик! — и мы в кромешной тьме. Почему не перерезал? Будь я на его месте, я перерезал бы.

— Теперь перережет, — сказала Жанна. — Я давно заметила: стоит лишь предположить, что он может совершить какое-либо преступление против нас, как он тут же его совершает. Допущенная нами возможность, тут же становится действительностью. Если бы мы не умели думать о дурном, разве дурное существовало бы между людьми? Почему мы допускаем плохое в мыслях?

— Потому что мысль принадлежит не нам. Она не спрашивает нас, появиться ей в нашей голове или не появиться. Мысль — это все. И человек — все. Он бог. Но бог-разрушитель. Он не видел бога-созидателя, он видел только бога-разрушителя. Человек появился в разрушающемся мире, в гниущем. Ведь при нем не возникло на земле ни одно живое существо, ни одна букашка, ни одна травинка. А сколько погибло! Энтропия — вот главный действующий закон

нынешнего мира, будь он проклят! Злые мысли — это мысли о существующем зле... Но зачем он и светит оттуда? Ведь он понял, что мы больше не будем стрелять. Зачем же он светит? — снова заговорил о ч у ж о м Кузьмин.

— Может быть, он боится нас, — предположила Жанна.

— Боится?! — нервно засмеялся Кузьмин. — Нас?! И убивает нас из страха?! Нет. Он никого не боится. А никого не боится, как говорил наш бедный Толик, только смерть...

— Лучше бы ты не произносил этого слова, — сказала Жанна.

— Пожалуй, — согласился Кузьмин. — Тогда давай вернемся к разговору о мысе Сунион. Кстати, с мыса Сунион видны не только прекрасные Киклады, но и остров Макронисос — могила многих прекрасных людей, которых убили черные полковники. И на обратной стороне «Джоконды» могут жить отвратительные пауки...

Кузьмин замолчал и, прислонившись спиной к стене, вскоре уснул, уронив голову на грудь.

Жанна встала из-за мольберта и подошла к Саиду.

Саид сидел, поджав ноги, и протирал тряпицей пистолет. Делал это не торопясь, старательно, любуясь черным блеском металла. Коротко взглянул на Жанну, улыбнулся и сказал:

— Все спокойно, госпожа. Вам нужно спать.

— Тебе нравится оружие, Саид? — спросила его Жанна, присаживаясь рядом.

— Да, нравится, — ответил Саид.

— Чем же оно тебе нравится?

— Оно делает человека сильным и освобождает от страха. Аш-шайтан боится этого оружия и поэтому не приходит.

— Но у него тоже есть оружие, — сказала Жанна.

— С ним он только равен нам.

— А если бы не было оружия ни у него, ни у нас? Разве тогда мы не были бы равны?

— Нет. Аш-шайтан нападает первым и поэтому сильней. Кто нападает первым, тот всегда сильней.

— Значит, он и теперь сильнее нас.

— Нет. Потому что мы тоже готовы напасть на него. Мы равны. Надо напасть на него, госпожа. Если бы госпожа мне разрешила...

— Не разрешаю, Саид. Кузьмин скоро пробьет стену, и мы уйдем в другой лабиринт.

— Это хорошо, если из другого лабиринта мы сможем напасть на ч у ж о г о.

— Мы совсем уйдем от него.

— Мы уйдем только от воды, от пищи и света. От ч у ж о г о мы не уйдем.

— Почему, Саид?

— Потому что аш-шайтан проходит сквозь стены, — ответил Саид.

— Аш-шайтан — это из сказки, Саид. А ч у ж о й — это человек. Злой человек.

— Злой человек — не человек, он — змея. Змея тоже проходит сквозь стены. Она вползает в мышиную нору с одной стороны стены и выползает с другой. Как аш-шайтан.

— Я пойду посплю, — сказала Жанна, поднимаясь на ноги. — Ты потерпи еще немного. Кузьмин отдохнет и сменит тебя. Я сама разбужу его.

— Пусть госпожа не беспокоится, — ответил Саид. — Я привык спать, когда светит солнце. Когда темно — я охотник.

Жанна легла. Кузьмин в неудобной для сна позе постанывал в трех шагах от нее. Жанна встала и затолкала Кузьмину за спину подушку, потом потянула за

ноги и он оказался лежащим головой на подушке. Притих, будто проснулся. Жанна постояла возле него, ожидая, что он вот-вот откроет глаза, но Кузьмин продолжал спать. Она вернулась к своему матрацу и снова легла.

Рисовать она не будет: поздно. А то, что она склеила картон и поставила мольберт — только игра. Все еще игра. Люди играют даже над бездной. Даже в падении они расставляют, подобно крыльям, руки и играют в полет. Истинных чувств и истинных поступков почти нет. Все они рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление. Разумеется, на других людей.

Жанна встала и подошла к мольберту. Потрогала картон — стыки, замазанные белилами, высохли. Села на ящик, открыла коробку с красками. Запахло маслом, как если бы запахло блаженством, тишиной, простором. Она вынула из коробки первый попавшийся ей под руку тюбик. Это оказался тюбик с зеленой краской. Она свинтила с него колпачок и поднесла к носу. Жанна знала, что в нем нет запаха, но ощутила его так явственно, будто поднесла к носу пучок смятой муравы. «Теперь на земле нет зеленого цвета, — подумала она. — Есть черный, серый, белый... наверное, красный... Но нет зеленого...»

Она выдавила немного краски на палитру, разбавила ее маслом, набрала на кисть. Долго не решалась прикоснуться кистью к картону, к белому полю, к заснеженному полю, холодному, бесконечному, чтобы вызвать к жизни первый кустик травы. Жанна уже решила, что нарисует луг для Кузьмина. С росой на траве, с тропинкою, с бабочками. И речку. И деревья над водой. И еще человека. Наверное, мальчугана. Либо у речки, либо на тропинке... Жанна не знала, почему она решила нарисовать для Кузьмина луг и речку. Просто она подумала, что именно такая картина для Кузьмина всего желаннее.

Кузьмин закричал вдруг детским голосом и проснулся.

— Чертовщина, — сказал он, приходя в себя. — Все время снится чертовщина. Я не напугал тебя своим криком? — спросил он Жанну. — Будто на сенокосе, я в шалаше, а шалаш загорелся... Ты рисуешь? Сколько я спал?

— Часа два, — ответила Жанна. — Поспи еще. Потом подежуришь у входа — надо дать отдохнуть Саиду.

Кузьмин подошел к Жанне и стал у нее за спиной.

— Откуда? — спросил он удивленно. — Откуда ты знаешь, как выглядел Крутихин луг? Ведь ты нарисовала Крутихин луг!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ДЕД, ИДИ ИСКАТЬ ТАКСИ. Эту фразу-перевертыш Кузьмин изобрел когда-то сам. И очень гордился этим своим изобретением. Во всяком случае, хвастался им по любому поводу. И даже без повода. Дурачился, конечно. Но это доставляло ему удовольствие. Особенно рассказ об открытии, которое предшествовало изобретению перевертыша. Суть открытия состояла в том, что правостороннее движение автотранспорта — противоестественно, так как при таком движении все вывески на домах, лозунги, рекламные афиши приходится прочитывать наоборот, то есть справа налево, по ходу движения. Так он прочел однажды вывеску «Такси», что и привело его к изобретению фразы-перевертыша. Прочитанная справа налево, она не теряет своего смысла и звучит так: ИСКАТЬ ТАКСИ ИДИ, ДЕД.

Какое, черт возьми, важное изобретение, какое выдающееся открытие! На какую ерунду он мог тратить свое время, о какой чепухе размышлял и говорил! И не только он. А главное осталось недодуманным, остался без ответа вопрос: кто ты есть, человек, кто ты в этом мире, зачем ты, каково твое будущее? Об этом

надо было думать всем и постоянно. И если бы ответ оказался неутешительным, следовало бы изменить себя. Каждому. Всем. И мир изменить, который до сих пор мы лишь приспособляли к себе и тем самым ухудшали не только мир, но и себя, вспучивая в себе потребительские страсти, оставаясь в плену порочных иллюзий: мир — прекрасен, человек — венец Вселенной... Что-то, конечно, улучшали: жилье, одежду, дороги, машины, породы свиней, кур, овец, коров, сорта пшеницы, кукурузы, капусты... Спортсмены стали выше и дальше прыгать, быстрее бегать, ловчее забивать мяч в ворота. Космонавты шагнули за предел человеческой выносливости. Студенты научились быстрее читать, детсадовцы — разговаривать с компьютерами... Человек стал лучше, производительнее работать. Он больше расходует сырья и энергии, выхлещивая землю. Он создал оружие космической силы. Номо есоnотіс — так, кажется, окрестили современного человека ученые. А где же сам человек? Где дух? Дух, к сожалению, не только продукт обстоятельств. Он прежде всего продукт сознательного движения к цели, к идеалу. Сознательного движения нет. Люди запутались в своих ошибках и амбициях. Опьянены своими экономическими подвигами. Номо есоnотіс. А где же Номо саріенс, человек разумный?... Ветер разносит его пепел по безжизненной планете... Неужели поздно? Какая выедающая сердце тоска!.. Нет, нет, только не об этом. Об этом — бессмысленно... Оставшиеся в живых будут думать о сохранившихся в земле корешках, червячках, жучках, о том, как их добыть и как ими питаться, как уберечь свою драгоценную добычу от чужих, как выжить... Хотя — зачем? Зачем необходимо выжить? Что есть в жизни, что выше всяких страданий? Природа печется о сохранении во Вселенной высокоорганизованной материи? Зачем ей эта материя? Природа слепа: она полагала, что высокоорганизованная материя — созидательная сила, она же оказалась разрушающей, потому что механизм духа работал в ней с большими перебоями...

Кузьмин прочел за свою жизнь много всякой чепухи. А надо было работать лишь над усвоением одной простой истины: смысл жизни в том, чтобы умножать силы жизни, жизнотворном созидании, в борьбе против энтропии духа и Вселенной. И против всего, что препятствовало возвышению к солидарности, братству, любви, единению, мудрости, красоте. Правомочность всякой мысли и поступка — опора на принцип возвышения. Дорога вверх...

Вчера Кузьмин попросил Жанну соскрести с картона «Крутихин луг».

— Я достаточно нагляделся, — сказал он ей. — Спасибо тебе большое. А теперь — Акрополь. Как ты хотела. Прошу тебя. Это важнее всего.

Пряча друг от друга слезы, они молча поплакали, когда скребок Жанны снял с картона последний зеленый мазок. Потом Кузьмин ушел к Саиду и долго сидел возле него.

Он подсоединил свой фонарь к нашим аккумуляторам, — сказал о ч у ж о м Саид. — Его фонарь тускнет и мигает одновременно с нашей лампочкой. Когда сядут аккумуляторы, кто их подзарядит?

— Я это знаю. Я все обдумал, — ответил Саиду Кузьмин. — Когда я пробью стену, мы уйдем в другой лабиринт. Ч у ж о й пойдет за нами. Мы спрячемся в какой-нибудь нише или в ответвлении лабиринта и пропустим ч у ж о г о мимо нас. Когда он пройдет, мы вернемся и запрем его в новом лабиринте. Ты понял? Мы получим свободный выход в штольню, к генератору, к воде. Мы сможем покинуть эту проклятую черную башню когда захотим. Ты понял?

— Я понял, — сказал Саид. — Только ч у ж о й не пойдет за нами, потому что он думает точно так же, как мы. Он думает: «Если они пробьют проход в новый лабиринт и я пойду за ними, они где-нибудь спрячутся, пропустят меня мимо, вернуться и постараются запереть меня в новом лабиринте, чтобы получить

свободный выход в штольню, на волю. Поэтому я не пойду за ними в новый лабиринт». Так думает ч у ж о й. И еще он думает: «Я запру их в новом лабиринте».

— К черту! — закричал Кузьмин. — К черту все твои рассуждения! Больше ни слова! Тебя послушать, так нам только и остается, что сложить лапки и умереть! — Кузьмин вскочил и затопал ногами. — Чтоб ни слова больше. Понял? Ты понял?!

— Хорошо, я буду молчать, — сказал Саид.

Кузьмин не понял его.

— Что ты сказал? — спросил он Саида. — На каком языке? Почему не по-русски?

— Я говорю только на одном языке, на родном, — ответил Саид. — Я сказал, что буду молчать, чтобы не сердить тебя.

Кузьмин снова не понял его.

— Ладно, — махнул он рукой. — Так даже лучше: ты говоришь — я не понимаю.

Теперь, сидя возле ниши, сделав передышку после нескольких часов работы, Кузьмин подумал: «Да понимал ли я Саида раньше? И не были ли все разговоры с ним только сном? И не сон ли все происходящее?»

— Увы, не сон, — сказал он себе, беря топор. — Увы, совсем не сон... То, что перед ним осталась тонкая стена, он понял неожиданно и сразу по нескольким ощущениям: изменился звук при ударе топора — к металлическому звону прибавилось звучание пространства, к которому Кузьмин прорубался, стена под топором стала вибрировать, сдаваться, утратила вдруг свою массу, которая так мощно и грозно еще недавно противостояла ему. Кузьмин размахнулся изо всех сил и ударил по стене обухом, видя, что кирпич уже не колет, а проваливается, уходит от ударов, вдвигается в неведомую, желанную, запредельную пустоту. От очередного удара вылетело сразу несколько кирпичей. Сквозь образовавшуюся дыру, зияющую чернотой, дохнуло застоявшимся воздухом минувших тысячелетий — тленом покинутого и закупоренного человеческого обиталища. Кузьмин не сразу осветил в дыру, не сразу заглянул в нее: следовало остановиться и перевести дух, прежде чем сделать это, потому что наступил конец тяжелой работы, конец тревожных ожиданий и начало... Начало чего? Что по ту сторону стены? Что приблизил он, проломив ее, — спасение или гибель? Стоило, разумеется, перевести дух перед тем, как узнать это. «Спасение. Конечно, спасение, — сказал себе Кузьмин. — Иначе на кой черт надо было столько уродовать себя? Нелогично. Работа вознаграждается — вот логика, вот закон. Разве не так?»

Он сделал последнее и в сущности все, на что был способен: стена проломлена, за нею пустота, о которой остается узнать лишь одно — достаточно ли она пригодна для того, чтобы заманить в нее ч у ж о г о. Если здесь неудача, он, конечно, пойдет с оружием на ч у ж о г о. Он выговорил себе это право у Жанны. Это будет необходимый, но безнадежный шаг. Он это знает. И Жанна знает. Она сказала ему: «Если ты не вернешься, я застрелюсь. Поэтому пойдешь с топором». Он пойдет на ч у ж о г о с топором, когда погаснет свет и кончится вода. Так он умрет. Потом умрет Жанна. Он спросил ее: «А что будет с Саидом?» — «В пистолете останутся патроны», — ответила она.

Поэтому он стоит спиной к дыре и не торопится в нее заглянуть. Право же, стоит повременить перед тем, как, может быть, навсегда проститься с надеждой. А если впереди удача, тоже не стоит спешить, кидаться навстречу ей сломя голову, потому что удача капризна и пуглива, к ней нужно подходить неторопливо.

«Познай конец жизни». Кто-то высек эти слова на белых камнях продромоса Дельфийского храма Аполлона. Зачем? Что в них? И как это сделать? Можно познать самого себя — в этом есть резон, но как познать конец жизни? О чем это? О том, что конец жизни открывает новое знание? Или о том, что конец жизни — смерть, что нужно знать и помнить об этом, чтобы не устать наслаждаться жизнью?

! — призыв к наслаждению и веселью. Неужели только это? Или все-таки что-то откроется, когда в лицо ударит свет и прогремит выстрел ч у ж о г о?.. Что же? А ничего не надо! Только бы ужас не убил прежде. Потому что смерть от ужаса — это смерть души...

— Невыносимо, — простонал Кузьмин и повернулся лицом к провалу. — Просто невыносимо!.. — он просунул руку с фонариком в дыру и нажал на кнопку. Ему открылся узкий туннель, конца которого он не увидел. — Есть! — произнес Кузьмин шепотом, чувствуя на глазах слезы. — Другой лабиринт... — он отложил фонарик и снова взялся за топор: надо было увеличить пролом. На эту работу потребовалось всего несколько минут.

Он не стал звать Жанну, решив, что сначала исследует новый лабиринт сам, по крайней мере найдет укрытие, тайную камеру, мимо которой они потом пропустят ч у ж о г о, просто убедится, что его открытие чего-то стоит: ведь он, черт возьми, пробился к новому лабиринту один, тогда как к старому они прокладывали штольню всей экспедицией! Один и целая бригада рабочих — есть разница? Он протиснулся в пролом и ступил на тонкую, устилающую пол туннеля пыль тысячелетий. Сделал несколько шагов, оглянулся — за ним оставались четкие следы. Это означало, что ему не придется, скитаясь по лабиринту, делать какие-то насечки на стенах, по которым он потом будет определять обратный путь: его выведут обратно следы на полу, оставленные подошвами его собственных башмаков. Спасибо тебе, пыль! И вам, башмаки!.. Потом, чтобы обмануть ч у ж о г о, со следами придется, конечно, что-то придумать — запутать их или замести. Но это — потом. Сейчас же он может идти, ни о чем не тревожась. Итак, вперед! Боже, неужели это спасение? Да, да, это спасение! И добыл его он, Николай Кузьмин. Ах, какой он молодец, этот Николай Кузьмин! Ты молодец, Коля! Ты большой молодец! Будь Клинцов жив, он похвалил бы тебя, хотя до этого ни разу не хвалил. Он сказал бы: «У этого молодого человека есть голова на плечах». И Селлвуд похвалил бы: «Карашё, Коля!» — сказал бы он ему, похлопав по плечу. А Дениза подмигнула бы ему, и это означало бы, что она всегда верила в его удачливость. Владимир Николаевич Глебов просто погладил бы его по голове, как гладят хорошего мальчика. Холланд, пожалуй, ничего не сказал бы, лишь улыбнулся бы молча, да и то не ему, а как бы между прочим, какой-то своей приятной мысли. Вальтер непременно пожал бы ему руку, очень крепко. А Сенфорд, конечно, закричал бы: «Все уже забыли, но о том, что существует другой лабиринт, первым сказал я!» Бедный Толик не дожил до этой минуты совсем немного...

Кузьмин шел по туннелю, не обнаруживая никаких ответвлений. Туннель плавно изгибался, словно очерчивал большой круг, и был пуст, как труба. Кузьмин шарил лучом фонарика по стенам и ничего не находил — ни ниш, ни провалов, ни выступов. Стены были покрыты шубой из пыли, которая бевшумно обрушивалась при малейшем прикосновении и повисала за спиной облаком. Свет фонаря упирался в это облако, как в непроницаемую завесу. Тогда возникло ощущение, что обратной дороги нет. «Но худа без добра не бывает», — нашел чем утешить себя Кузьмин. Он подумал, что, обрушивая пыль со стен, можно будет засыпать ею следы. Вспомнив о следах, он посветил на пол перед собой и остановился в недоумении: на полу явственно были видны отпечатки чьих-то

башмаков. То, что эти следы принадлежат не ему, он понял сразу же: на кожаных подошвах его ботинок не было никакого узора, здесь четко был отпечатан узор, словно ботинки, оставившие следы, были подбиты подошвами, вырезанными из автомобильных шин. Он сразу же понял и то, что это — конец, что открытый им лабиринт не является другим лабиринтом, что он прорубил вход все в тот же лабиринт, в котором хозяйничает ч у ж о й... Возвращаться надо было немедленно. Судьба сыграла с ним злую шутку. И все же ее стоило поблагодарить за то, что на обратном пути нет ответвлений, ниш и выступов — укрытий для ч у ж о г о и что, стало быть, ч у ж о й его там не поджидает. Надо было бежать, но ноги Кузьмина словно приросли к полу, не подчинялись командам мозга, онемели, стали чужими. И все в нем стало чужое, все тело предало его. Фонарик выпал из руки и, ударившись о землю, погас. И тогда в лицо Кузьмину ударил мощный сноп света. Свет ослепил его. Кузьмин зажмурил глаза, но и сквозь закрытые веки он видел свет — яркое красное пятно перед собой.

— Вот и все, — услышал он впереди себя голос. — Вот мы и встретились. Не ожидал?

— Кто ты? — спросил Кузьмин, с трудом преодолев оцепенение губ. — Могли ли я тебя увидеть?

— Можешь. Нагнись и подними свой фонарик. Потом я погашу свой и ты осветишь меня. Ну!

Кузьмин присел и поднял с земли свой фонарик.

— Теперь действуй! — приказал ч у ж о й. Свет погас.

Кузьмин нажал на кнопку фонарика. Желтый луч уткнулся в клубящееся облако пыли.

— Все же покажись, — сказал Кузьмин.

Ч у ж о й засмеялся.

— Ты видишь не дальше собственного носа, — сказал он. — Я не могу тебе помочь.

Жанна и Саид услышали выстрел и посмотрели друг на друга.

— Это там, — Саид махнул рукой в сторону камеры, где еще недавно долбил стену Кузьмин.

— Да, — согласилась Жанна. Она резко встала и направилась к камере.

— Вернитесь, госпожа! — крикнул Саид. — Там аш-шайтан! Теперь нам надо уходить в штольню!

— А Кузьмин? — остановилась Жанна. Саид в мгновение ока оказался рядом с ней.

— Кузьмина больше нет, — сказал он. — Вы это знаете.

— Но почему, почему?! — закричала Жанна. Саид схватил ее за руку и потащил к выходу.

— У нас нет ни секунды, — торопил он ее, сунув ей в свободную руку пакет с крупой, — ни одной секунды! Аш-шайтан ошибся только раз и только на секунду! Пока он там, мы добежим до штольни и обрушим ее за собой! Больше никогда, госпожа! Больше никогда! Да не упирайтесь же! — умолял он ее. — Не упирайтесь, госпожа!

А Жанна и не упиралась. У нее просто не было сил бежать. Да и жить, кажется, уже не было сил. Последние метры по штольне Саид нес ее на спине.

— Я сейчас, — сказал он, уложив ее бережно на пол. — Вот там, госпожа, включается свет и генератор, — указал он ей на пульт. — Синяя кнопка — это помпа, вода... Вот пакет с крупой. Теперь все. Теперь я вас покину, госпожа, — Саид наклонился над Жанной и поцеловал ее в щеку. — Время кончилось... Противогазы там! — крикнул он ей, убегая. — Справа от лаза! Прекрасная госпожа!..

Жанна с трудом отдышалась и на локтях придвинулась к стене, уперлась в нее затылком. Прямо над головой тускло светила лампочка, затянутая пыльной сеткой паутины. Жанна подумала, как же давно они здесь, если паук успел оплести лампочку паутиной.

Грохот длился две-три секунды. Он совсем не напугал Жанну: она знала, что это Саид обрушил штольню у входа в башню, чтобы перекрыть дорогу чужо-му. От обвала дрогнула земля. Мигнув, погасла над головой лампочка. Штольня наполнилась пылью. Жанна прикрыла лицо рукавом кофты, чтобы не дышать пылью. Ждала возвращения Саида. Но он не вернулся.

Ей не хотелось думать, что Саид попал под обвал. Лишь на мгновение ей представилось, как это могло случиться. Потом она поняла, что Саид остался по ту сторону завала, как и собирался, когда говорил ей, где включается свет, где помпа, где лежат противогазы, когда поцеловал ее в щеку, когда сказал ей, что время кончилось...

Надо было бы заплакать, но не плакалось, только колющая боль расплзалась по груди.

— Саид, мальчик, — произнесла вслух Жанна. — А ведь я не простила-сь с тобой.

Она поднялась, нашла лампочку. Лампочка зажглась, едва Жанна прикоснулась к ней рукой. Отряхнула паутину с пальцев, посмотрела в глубь штольни. До обвала было шагов тридцать. Десятиметровый слой глины и кирпичей отделял ее теперь от входа в черную башню. От Саида... И от чужо-го.

Жанна нашла противогаз, плащ и канистру для воды. Включила станцию, затем помпу. Из шланга у лаза ударила струя воды. Жанна наполнила канистру, умылась. Умываясь, увидела слабый свет, пробивающийся сквозь лаз. Подошла к лазу, нагнулась. В лазе, лицом вниз, лежал Ладонщикова.

Очнулась от холода, потому что лежала в луже воды: она не успела выключить станцию и помпу. Но теперь вода из шланга уже не текла и двигатель станции молчал.

От холода и долгой неподвижности она совсем окоченела. Не смогла, как ни старалась, подняться на ноги, выбралась из лужи на четвереньках. Лишь согревшись лежа на плаще, нашла в себе силы сесть. Лампочка на пульте не погасла. Остался сухим мешочек с крупой. Жанна дотянулась до него рукой, придвинула к себе. С трудом развязала его, достала горсть риса. Взяла на язык немного зерен, попыталась разжевать. Они оказались прочными, как морская галька. Ничего не оставалось, как проглотить их, не разжевывая.

Полное отупение — так можно было бы определить ее состояние. Сколько она находилась в нем, она не знала, так как чувство времени тоже угасло в ней. Она то погружалась в дрему, то пробуждалась — видела свет, потом снова засыпала или, может быть, теряла сознание, но все это было лишено длительности и существенных различий. Пробуждение началось со сна. И проснувшись, запомнила его: над городом проносились самолеты, зеркально сверкающие, длинные, ревущие, чужие. От их рева из окон сыпались стекла и увядали листья на деревьях, пылью становился асфальт и лопались провода. Потом все превратилось в пламя...

«Надо уходить!» Жанна не поняла, произнесла ли она эти слова вслух или только мысленно. Показалось, что вслух — они звучали в ее ушах, но рот был набит рисом. Она выплюнула рис и поднялась на ноги. Отряхнула и надела плащ, натянула на лицо противогаз, перенесла к лазу мешочек с крупой и наполненную водой канистру. Потом присела перед лазом, взяла мертвого Ладонщикова за руки и потянула на себя.

— Господи, какой ты большой и тяжелый, — сказала она Ладонщикovu, плача. — И какой несчастный... Какой несчастный!..

Она не решилась перевернуть его на спину, потому что все лицо его было в запекшейся крови. Оттащила на сухое место, к стене. Вспомнила, что в противогазе и что Толик, стало быть, не слышал сказанных ему слов. Сняла противогаз, опустилаcь возле Толика на колени, погладила его по плечу и еще раз сказала:

— Какой ты несчастный, Толик. — Потом встала и, перед тем, как снова надеть противогаз, добавила: — Прощай, Толик. Все погибли. А что будет со мной — не знаю... И почему мы не давали тебе уйти?..

Было утро. Тихое, солнечное. Совсем, как в те времена. И небо, кажется, было таким же голубым, безоблачным. Ничто не напоминало о случившемся, разве что бревно, торчавшее одиноко в том месте, где некогда стояли домики экспедиции. И безлюдье, конечно. Абсолютное безлюдье, какого никогда Жанна здесь не ощущала, — ведь она прилетела сюда с людьми, они шумели, устраиваясь на новом месте, были возбуждены, пели песни и произносили речи. Только в том гигантском временном промежутке, когда погиб город, схоронившийся под холмом, и пока не прилетела сюда экспедиция, здесь было тоже безлюдно. Хотя, наверно, проходили караваны, кочевые племена — и, значит, была надежда, что люди вернутся. Оставалась надежда. И вот ее больше нет?..

Жанна решила, что пойдет к морю, к городу, из которого прилетела сюда вместе с экспедицией. Стало быть, на восток. И хотя понимала, что этот ее выбор является столь же бессмысленным, безнадежным, как и любой другой — пройти по пустыне более трехсот километров, имея в запасе мешочек крупы и несколько литров воды, — разве не безнадежное дело? — все же остановилась на нем, потому что этот выбор оставлял ей цель: впереди был город, пусть недостижимый, но существующий. Или существовавший?

Она старалась не думать о том, что ей придется идти сквозь смерть, которую чья-то злая воля рассеяла по пустыне, хотя помнила об этом. Авось, думалось ей, смерть одолеет ее не раньше, чем она дойдет до моря, до людей, пощадит ее ради такой малой малости, ради возможности увидеть другого человека и спросить его, что же случилось... Теперь в ней не было страсти сильнее этой, жажды сильнее этой, потому что неведение убийственнее самой смерти, неведение о судьбе человечества. Она даже подумала, что, ощутив в себе эту могучую страсть, она теперь не умрет. И почувствовала, как налились силой ее мышцы, как успокоилась смятенная душа.

Жанна привалила пустой бочкой лаз, чтобы в него не забрались шакалы, постояла в горестном молчании, как у могилы, и пошла. На восток.

Вертолет настиг ее на второй день пути. Она была на высоком бархане, когда услышала его гул. Оглянулась и увидела вдалеке черную движущуюся точку. Вертолет приближался к ней, потому что ее тоже заметили. Она даже не стала махать руками, только подняла их, как в молитве. Вертолет приземлился в ложине, метрах в ста от нее. Дверца открылась, и из кабины выпрыгнул человек в странном наряде, похожем на водолазный костюм. Он упал, но тут же поднялся на ноги и побежал к ней, вверх по склону бархана, скользя и спотыкаясь на сыпучем песке. А она не могла сдвинуться с места, хотя надо было бы бежать навстречу ему. Не подумала, не догадалась. Человек сорвал с головы шлем и закричал, задыхаясь от бега:

— Это я — Филиппо! Филиппо!

Жанна сняла противогаз, сбросила плащ и пошла ему навстречу.

— Мама миа! — остановился Филиппо. — Синьора Жанна! — всплеснул он руками. — Синьора Жанна! — и бросился к ней. — О, синьора Жанна!

Плача и обнимая ее, он говорил ей, что здесь опасно, что надо бежать, что надо скорее подняться вверх, как можно выше, что много дней и много ночей он готовил перелет к Золотому холму, что никто не верил в разумность его затеи, что лишь он один, Филиппо, верил в это, и вот он обнимает ее, прекрасную синьору Жанну, и хотя никто не спасся, кроме нее, это такое счастье, такое счастье, прекрасная синьора Жанна!

Они оба плакали и целовались, будто ради этой встречи прожили всю жизнь.

— Но что случилось? — спросила Жанна Филиппо уже в вертолете. — Что произошло, Филиппо? О, нет, нет! — замахал он руками. — Об этом — потом. Когда я перестану плакать. Когда вы перестанете плакать, синьора Жанна. Впрочем, вот: случилось то, что не могло не случиться, — трагическая ошибка. Но только здесь, в пустыне. Дальше — все хорошо, синьора. Тутто бене. Все хорошо...

— И, значит, люди живут, Филиппо?

— О, люди живут! Люди живут, — вздохнул он. — Кроме тех, которые погибли.